

КОГДА СУДЬБА ПОСТАВЛЕНА
НА КАРТУ

СТИХИ. ПЕСНИ

Александр Городницкий



АЛЕКСАНДР

ГОРОДНИЦКИЙ

КОГДА СУДЬБА
ПОСТАВЛЕНА НА КАРТУ

СТИХИ. ПЕСНИ





Александр Городницкий

Когда судьба
поставлена
на карту



Стихи

Москва
ЭКСМО-ПРЕСС
2 0 0 1

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-5
Г 70

Составитель *В. Краснопольский*

Оформление художника *Е. Ененко*

А. Городницкий
Г 70 Когда судьба поставлена на карту: Стихи.
Песни. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. —
416 с.

ISBN 5-04-006544-2

Александра Городницкого считают одним из основоположников авторской песни. Его стихи, как и песни, всегда искренни и высокопрофессиональны. В них и глубина понимания нашей жизни, и просто легкий и тонкий поэтический дар, который дается от бога...

В книгу вошли песни разных лет и новые стихи А. Городницкого.

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

ISBN 5-04-006544-2

© В. Краснопольский. Составление, 2001
© Оформление. ЗАО «Издательство
«ЭКСМО-Пресс», 2001

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Стихи я начал писать еще в 1947 году, в седьмом классе, когда мне посчастливилось попасть в моем родном Питере в литературную студию при Дворце пионеров, которой руководил замечательный поэт и педагог Глеб Сергеевич Семенов.

С песнями вышло иначе. Окончив в 1957 году геофизический факультет Ленинградского горного института, я попал на Крайний Север — на Таймыр, в районы Норильска, Игарки, Туруханска, позднее — на Кольский и Колыму. В Заполярье я проработал в общей сложности около 17 лет.

Именно там, в тайге и тундре, под комарами и стужей, у костров поисковых партий и на коротких привалах, я услышал песни, дотоле мне не известные. Их пели геологи, полярные летчики, рыбаки, но более всего — наши работяги, в основном — бывшие «зеки».

В полевых партиях, заброшенных в тайгу и болота и состоящих из небритых мужчин, народ был не сентиментальный и немногословный. О себе рассказывать не любили, общались в основном песнями. На мои наивные по неопытности вопросы, кто автор, обычно отвечали с усмешкой: «Слова народные — автора скоро выпустят». Это были великие песни. Наряду с безымянным геологическим фольклором типа «Закури, дорогой, закури...», там пели «Ванинский порт», «Идут на север срока огромные...»,

«Черные сухари», «По тундре, по железной дороге...» и многое другое, что невозможно было услышать с советской эстрады, по радио или с киноэкрана.

Песни эти настолько запали мне в душу, что я неожиданно для себя начал придумывать мелодии на свои нехитрые стихи, невольно подражая услышанному. Так появились мои первые песни: в пятьдесят восьмом — «Снег», в пятьдесят девятом — «Кожаные куртки...» и «Деревянные города», в шестидесятом — «Перекаты» и «На материк». Исполняя эти песни у костров «в поле», я, конечно, не сознавался в авторстве, да этого и не требовалось. Гитар в тайге и тундре не было — пели, что называется, «а капелла». Может быть, именно поэтому я так и не освоил гитару. Магнитофонов тоже тогда еще не знали, и распространялись песни изустно — от костра к костру, от места к месту, нередко обрастая новыми словами и мелодиями.

Именно поэтому некоторые мои песни, написанные в те годы на Крайнем Севере, до сих пор считаются безымянными и народными.

Я не возражаю и думаю, что это самая высокая честь для автора.

С шестьдесят второго года я начал плавать на океанографических судах в океане, сначала на военных, потом на гражданских. И пошли другие песни, часто отражавшие причудливую географию экспедиционных рейсов.

Что же касается стихов, то, хотя мне и казалось, что я пишу их со школы, в действительности они пришли значительно позднее.



У края
земли





Северная Атлантика.
Научное судно «Дмитрий Менделеев».



ПРОЩАЛЬНЫЙ ГУДОК У ПЕРРОНА

Песня

Прощальный гудок у перрона,
Остался вдали Ленинград.
Кружась за окошком вагона,
Столбы убегают назад.
И снова бегут вдоль откоса
Поляны, луга и покосы,
И снова по рельсам колеса
Стучат, стучат, стучат.

По холоду, ветру и зною
Немало путей мы прошли,
Немало боролись с тоскою,
Живя от любимых вдали.
Осенней дождливой порою
Лишь ветер гудит над тайгою,
Да капли одна за другою
Стучат, стучат, стучат.

Мы дома бываем не много:
Вчера ты вернулся домой,
А завтра уж надо в дорогу
Мешок собирать вещеюй.
Едва позабыв про маршруты,
Вчера только обнял жену ты,

А время идет, и минуты
Стучат, стучат, стучат.

И снова гудок у перрона,
И снова прощай, Ленинград.
Опять за окошком вагона
Столбы убегают назад.
И снова бегут вдоль откоса
Поляны, луга и покосы,
И снова по рельсам колеса
Стучат, стучат, стучат.

1959





ГЕОЛОГИ

Опять штаны на нас с заплатами.
Прощай, порядок городской.
На нас, довольные зарплатами,
Махнули умники рукой.

А мы идем себе в разведке,
В мальчишках зависть бередя.
Над нами сосны сводят ветки,
Нас заслоняя от дождя.

А мы живем, не зная крова, —
Нам под торшером — не житье.
Земля нам — дойная корова,
И паром пахнет от нее.
Ее бока — щетина хлеба,
Глаза морей полны тоски,
И льдом парным провисли в небо
Гор затвердевшие соски.

1961





НАЧНЕМ ЖЕ ВСЕ СНОВА

Песня

В окне звериными мордами
Клубится вечерний час.
Несмелые и негордые
Любимых крадут у нас.
А мы им в ответ ни слова,
Узнаем — рукой махнем.
Начнем же все снова,
Начнем же все снова,
А прошлое зачеркнем.

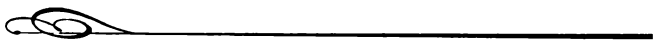
Стучимся у давней двери
В оставленный свой уют.
Как прежде, в любовь мы верим,
Хоть верить нам не дают.
Из мира придя лесного,
Чужой обживаем дом.
Начнем же все снова,
Начнем же все снова,
А прошлое зачеркнем.

Не слышим мы сплетен летом,
А слышим сосновый гуд.
И снова нас любят где-то,
И снова нас где-то ждут.
К нам, время, не будь сурово,

Так день не гони за днем!
Начнем же все снова,
Начнем же все снова,
А прошлое зачеркнем.

1959





Первые песни я начал писать несколько неожиданно для себя, поступив учиться по окончании школы на геолого-разведочный факультет Ленинградского горного института.

Уже на втором курсе нашу специальность «геофизические методы разведки полезных ископаемых» перевели с геолого-разведочного на специально созданный геофизический факультет. По институту поползли таинственные слухи, что геофизиков будут зачислять на «совершенно секретную» специальность по поискам урана. Никакого понятия о ней мы, конечно, не имели, кроме того, что занимается ею совсем уже секретный СРЕДМАШ под командой «сталинского наркома» Берия. Слухи эти, однако, довольно скоро приобрели вполне реальную основу. В число записавшихся попал и я. Нас пригласили в подвальное помещение, где за обшитой металлом дверью помещалось отделение «радиоактивной разведки», завели на нас обширнейшие анкеты и через некоторое время, приобщив к «форме номер два» и взяв подписки о неразглашении государственной тайны, зачислили на специальность «РФР» — геофизические методы поисков радиоактивных полезных ископаемых.

Мы, идиоты, попавшие на это «избранное» отделение, помню, еще радовались, совершенно не представляя, что нас ожидает в будущем.

Романтика секретности и государственной необходимости затуманивала наш разум. Особенно нам нравилось, что мы освобождались от обязательных для всех учебных воинских лагерей и получали офицерское звание «просто так». Здоровые и молодые, мы не задумывались всерьез о разрушительном действии радиации и на занятиях по технике безопасности беззаботно пошучивали. Тяжелое похмелье пришло гораздо позднее, уже после института, когда я узнал о безвременной смерти моих однокашников, попавших по окончании на престижную и высокооплачиваемую работу на урановые месторождения у нас и в Чехословакии. Пока же наша будущая специальность была неистощимым предметом различного рода сексуальных шуток. Одной из самых первых моих песен стала лихая песня искателей урана, написанная на мотив популярной тогда песни «Жил на свете золотоискатель», которая стала со временем трагикомическим гимном студентов нашей несчастной специальности.

А. Городницкий.

Из книги «След в океане».





ПЕСНЯ ИСКАТЕЛЕЙ УРАНА


На уран он жизнь свою истратил,
Много лет в горах его искал,
И от этой жизни в результате
Он свой громкий голос потерял.

Загрустил от этой он причины
И промолвил с горечью в словах:
«Я теперь уж больше не мужчина,
А всего лишь облако в штанах».

Он заплакал и пошел, рыдая,
Через реки, горы и поля,
И лежала перед ним большая,
Женщинами полная земля.

1955





На промерзших булыжниках заснеженного пирса стоял небольшой матросский оркестр, зябнувший в куцых шинелишках, и самоотверженно дул в трубы коченеющими губами. Рядом с оркестром, приложив руки к вискам, стояли несколько офицеров во главе с адмиралом, стараясь не реагировать на пронзительный ветер, залеплявший глаза снегом. Поодаль махали руками немногочисленные жены. На открытом мостике «Крузенштерна» также торжественно, в полной парадной форме, стояли командир экспедиции Петр Сергеевич Митрофанов, командир «Крузенштерна» капитан I ранга Власов и другие офицеры. Таких торжественных и парадных проводов мне видеть раньше не приходилось, и сердце мое преисполнилось гордости — вот что значит настоящий флот, настоящее океанское плавание! Впечатление было такое, что мы на судне Колумба плывем открывать Америку.

Торжественность момента, однако, была несколько нарушена. Маленький буксир, отчаянно дымя, начал отводить корму нашего судна от пирса, но швартовая команда зазевалась и не успела сбросить с причального пала один из кормовых концов, который начал опасно натягиваться, угрожая лопнуть и зацепить крутящихся неподалеку накрашенных девиц, машущих матросам на борту. «Уберите детей от концов», — громко скомандовал по радио с мос-

тика не разглядевший их старпом. «Раньше надо было, — весело и громогласно откликнулся в мегафон командир береговой команды, — теперь их от концов за уши не оттянешь». Наконец швартовы были отданы, и, подталкиваемые двумя пыхтящими буксирами вдоль неширокого фарватера во льду, мы медленно двинулись от пирса мимо старой немецкой офицерской гостиницы с рестораном «Золотой якорь», мимо старинного кирпичного маяка, установленного в порту Пиллау еще в прошлом веке, вдоль волнолома к выходу из гавани, над которой висели свинцовые балтийские облака.

А. Городницкий.

Из книги «След в океане».





ПЕСЕНКА РАДИСТА

Над палубой ночь напролет
Бьют тихие склянки.
Усталым радистам уснуть не дает
Прерывистый свист морзянки.

И слышат ребята во сне
Хорошее что-то
На длинной волне, на короткой волне,
На разных частотах.

А мне, как ключом ни стучи, —
Заботы пустые:
Над пеной морской затерялись в ночи
Твои позывные.

Ах, наша любовь — ты права —
Одно наказание!
Уходят на ветер мои слова,
Искрят на бизани.

Ушли мы в далекий поход,
Полгода нам до стоянки.
Усталым радистам уснуть не дает
Прерывистый свист морзянки.

1962



КАРЕЛИЯ

Моя любезная Карелия,
Пора мальчишеской весны!
Там пахнут желтою капелью
Смолистые лесные сны.

Там звуки чайчьего крика
Над набегающей водой,
На солнцепеке земляника,
Отец вихрастый, молодой.

Я по следам своим дошкольным
Иду прибрежною травой.
Мне прикасаться к ним не больно,
Как будто к ткани неживой.

Нам детства прописные истины
Опять становятся нужны.
Как обновленье — наши лысины,
Как пробужденье — наши сны.

Ночной скворец зовет подругу,
Стрижи торопятся домой,
И мы всю жизнь идем по кругу, —
Лишь кажется, что по прямой.

1962



С матерью на даче под Ленинградом. 1935 г.



РЫБАЧКИ

Ты не стой над волной — смоей.
Ты в шторма не пищи — думай.
Уходили женщины в море,
Оставляли мужчин дома.

Женщин мучила непогода.
Не мечтали они о славе.
Накануне Нового года
Телеграммы мужьям слали.

И с земной тоски напряженной
(Посиди-ка вдвоем с часами),
Изменяли мужья женам,
Будто жены они сами.

О пайках с начальством не споря,
О высоких окладах,
Уходили женщины в море,
В золотой чешуе, как в латах.

Их голодные взгляды бесчестили,
В кружева одевала пена.
Поначалу плакали часто,
Но прикачивались постепенно.

По-мужски бранились устало,
Привыкали к затертой робе.

Тяжелило тугие тралы
Серебро обманное рыбе.

И при встрече, усмешку пряча,
Поджимали подруги губы,
Говорили им вслед: «Морячки»,
Называли их словом грубым.

Было горе им бабье — не в горе,
Был им дым очага — не дымом.
Уходили женщины в море,
Оставляли землю любимым.

1963





Поход наш уже перевалил за половину, когда московское радио вдруг передало мою песню «Снег» в исполнении артиста Юрия Пузырева. Примерно через день после этого ко мне явилась делегация от боцманской команды с просьбой написать «такую же хорошую песню про море, про то, как мы здесь всякие трудности переносим вдали от жен и подруг, но все-таки море любим больше». «Только, если можно, — сказал Овчухов, возглавлявший делегацию, — напишите попросту, по-матросски, без всяких интеллигентских выкрутасов». И я на свою беду попробовал, написав шуточную матросскую песенку. Морякам новая песня как будто понравилась. Во всяком случае, они ее тут же переписали и даже пару раз успели исполнить на баке вечером под баян, на котором виртуозно играл старшина второй статьи, известный женский сердцеед Слава Агуреев.

На следующий день, однако, начались неприятности. Распевавшие песню неожиданно получили по два наряда вне очереди, а сам текст песни у них был конфискован. Ко мне явился замполит и сказал: «Ну, когда мы в базу вернемся, с вами Особый отдел будет разбираться за ваши идеологические диверсии. А я все-таки хочу спросить, как это так — я дней и ночей не сплю, личный состав неустанно воспитываю в духе постоянной преданности и духовной чистоты, а вы взяли и мне его весь в один день морально разложили?». Я не на шутку испу-

гался: «Чем же это я разложил?» «Вы что, и вправду не понимаете или ваньку валяете? Это ваши слова?» — И он сунул мне под нос отобранную у Агуреева тетрадку, где под мою диктовку был записан текст песни. — «Мои». «Ну вот, а еще отпираетесь», — сказал он с торжествующей улыбкой. «Вы тут ясно пишете, что у женщины есть грудь!». «Ну и что?» — не понял я. «А то, что вы таким образом на секс намекаете. А для советского человека у женщины грудь в любви — не главное, главное — это моральный облик!» Сразу стало ясно, что общего языка мы с ним не найдем...

В начале июня, когда «Крузенштерн» возвратился в Балтийск, замполит ухитрился внести историю со злополучной песней в свое политдонесение, которое попало на стол к тогдашнему начальнику политотдела Дважды Краснознаменного Балтийского флота контр-адмиралу товарищу Почипайло. Туда же шустрый замполит принес и отобранную у матросов магнитофонную пленку с записью той песни, с просьбой прослушать для определения меры наказания для автора, «разложившего личный состав». Начальник политотдела, как рассказывали мне потом случившиеся там офицеры, торопился на футбол — команда балтийцев играла с каким-то сильным противником, но все-таки выслушать песню согласился. «Ну, что же, — сказал он, надевая фуражку, — ничего особенного, правильная песня. Она показывает, что моряк должен любить море больше, чем бабу». И, уже выходя в дверь, обернулся и твердо закончил: «Разрешить!» Это мудрое решение определило не только судьбу песни, которая не стоила обсуждения в столь высоких инстанциях, но и судьбу автора, дав ему возможность плавать в океане и дальше.

А. Городницкий.

Из книги «След в океане».



АХ, НЕ РЕВНУЙ

Песня

Ах, не ревнуй меня к девке зеленой,
А ты ревнуй меня к воде соленой.
Ах, не ревнуй меня к вдове дебелий,
А ты ревнуй меня к пене белой.
Закачает вода, завертит,
Все изменит в моей судьбе,
Зацелует вода до смерти,
Не отпустит меня к тебе.

Ах, не ревнуй меня к ласке дочерней,
А ты ревнуй меня к звезде вечерней.
Ах, не ревнуй меня к соседке Райке,
А ты ревнуй меня к серой чайке.
Только чайка крылом поманит —
И уйду от любви твоей,
Пусть сегодня она обманет —
Завтра снова поверю ей.

Ах, не ревнуй меня к глазам лукавым,
А ты ревнуй меня к придонным травам.
Ах, не ревнуй меня к груди налитой,
А ты ревнуй меня к песне забытой.
Мне бы вовсе ее не слушать,
Как услышу — дышать невмочь,
Снова песня источит душу
И из дома погонит прочь.

Ах, не ревнуй меня к девке зеленой,
А ты ревнуй меня к воде соленой.
Ах, не ревнуй меня к вдове дебелий,
А ты ревнуй меня к пене белой.
Закачает вода, завертит,
Все изменит в моей судьбе,
Зацелует вода до смерти,
Не отпустит меня к тебе.

1962





ОДИНОЧЕСТВО

Песня

Одиночество наше на людях —
Оно вроде весенней наледи:
Как на прочность льда ни надеешься,
От беды никуда не денешься.
С виду наледь тверда,
А под нею вода,
А под нею вода —
Не ступить никуда.

Одиночество наше невидное —
Оно вроде похмелья винного
Во чужом пиру, во веселии,
В тех домах, что знакомы семьями.
Вся квартира полна,
А вокруг тишина,
А вокруг пустота —
Не видать ни черта.

Одиночество наше давнее —
Оно словно дорога дальняя,
Где ни станции, ни попутчицы,
Где не стариться — дольше мучиться,
Где хоть ешь, хоть пей,
Хоть постель дели —

Все один как пень
На краю земли.
Ах, друзья, вы куда?
Надо мною беда,
Надо мною беда
Не на день — на года...

1964





БОЛКОНСКИЙ

Шумит-горит пожар московский
В цветной экранной красоте,
И умирает князь Болконский
От тяжелой раны в животе.

Не выдержит здоровье хилое.
Не встанешь, княже, никогда.
Над свежерытой могилою
Горит-горит твоя звезда.

Твоя растроченная сила
Из голубых уходит жил.
Как просто умереть красиво,
Как нелегко красиво жить!

Твоя любовь стареет краткая,
Ей не прикажешь: «Не толстей!»
Она еще полюбит сладкое,
Рожать научится детей.

Свеча кончается, кончается.
Ночные сумерки длинны.
Твои друзья в петле качаются
У Петропавловской стены.

Твои друзья в этапной пыли
Бредут, понуро наклонясь.
Как вовремя тебя убили,
Князь!

1964

У КРАЯ ЗЕМЛИ

Песня

У края земли сажу взаперти,
Мой стол без еды, а окна без стекол.
Сирены поют, и ветер свистит,
И дождь моросит над Владивостоком.

Играю ва-банк последним рублем
Не ради любви, не ради восторга.
А чайки кричат над моим кораблем,
И тает туман над Владивостоком.

Хоть птицей заплачь, хоть волком завой, —
Ты вспомнишь в пути последнем, жестоком
Молочный туман над летней Невой
И черный туман над Владивостоком.

У края земли сажу взаперти,
Ночная вода гремит водостоком.
Сирены поют, и ветер свистит,
И дождь моросит над Владивостоком.

1966





Весной шестьдесят пятого, несмотря на яростное сопротивление ленинградского обкома, в Ленинград приехал знаменитый Театр на Таганке, и мне довелось познакомиться с Владимиром Высоцким.

Спектакли театра игрались на сцене Дома культуры имени Первой Пятилетки на углу улицы Декабристов и Крюкова канала. Привезли они свои нашумевшие постановки «Добрый человек из Сезуана», «Живые и павшие» и премьеру «Жизнь Галилея», где главную роль играл Высоцкий.

Помнится, мне его исполнение не понравилось. Я представлял себе Галилея маститым средневековым ученым с сединой и величественным европейским обликом, с неторопливыми движениями, а увидел на сцене совершенно непохожего курносого молодого парня, не очень даже загримированного, который хриплым полублатным голосом «прихватывал» инквизиторов.

Обо всем этом я и заявил беззастенчиво Володе Высоцкому, с которым встретился в доме у Жени Клячкина, жившего тогда неподалеку от Исаакиевской площади в переулке Антоненко. Значительно позднее я понял, что актер Высоцкий тем-то и отличался от большинства других актеров, что черты своей яростной личности вкладывал в сценические образы. Поэтому-то Галилей-Высоцкий, Гамлет-Высоцкий и Жеглов-Высоцкий — это Высоцкий-Гали-

лей, Высоцкий-Гамлет и Высоцкий-Жеглов. Но уже тогда я это подсознательно почувствовал, потому что через несколько дней написал две песни, посвященные Владимиру Высоцкому в роли Галилея: «Галилей» и «Антигалилей».

С Высоцким мы, помню, подружились и встречались неоднократно в Ленинграде и Москве. Кстати, на первой же встрече у Жени мы договорились встретиться на завтра, чтобы посидеть и попеть друг другу новые песни (в театре в тот день был выходной), однако минут через пятнадцать Володя дозвонился до какой-то Нинки и назначил ей свидание на это же самое время. «Ребята, извините, — смущенно пояснил он нам, — никак не могу такой случай упустить». И, махнув рукой, сокрушенно добавил: «Ну, и дела же с этой Нинкою!»

А. Городницкий.

Из книги «След в океане».





ГАЛИЛЕЙ

Песня

В. Высоцкому в роли Галилея

Отрекись, Галилей, отрекись
От науки ради науки!
Нечем взять художнику кисть,
Если каты отрубят руки,
Нечем гладить бокал с вином
И подруги бедро крутое.
А заслугу признать виной
Для тебя ничего не стоит.

Пусть потомки тебя бранят
За невинную эту подлость, —
Тяжелей не видеть закат,
Чем под актом поставить подпись,
Тяжелей не слышать реки,
Чем испачкать в пыли колено.
Отрекись, Галилей, отрекись, —
Что изменится во Вселенной?

Ах, поэты и мудрецы,
Мы моральный несем убыток
В час, когда святые отцы
Волокут нас к станкам для пыток.
Отрекись глупцам вопреки, —
Кто из умных тебя осудит?
Отрекись, Галилей, отрекись,
Нам от этого легче будет.

1967

МАРШ ХУНВЭЙБИНОВ

Песня

«Облака проплывают, как снег холодны,
Гуси к югу летят в милый отческий край.
Если мы не дойдем до Великой стены,
Значит, мы недостаточно любим Китай».¹

Отсчитали по пальцам мы тысячу ли,
Дует ветер восточный в полотна знамен.
И несем мы веревки, шагая в пыли,
Чтобы ими был связан бумажный дракон.

Перевалы, дожди, — ты привала не жди.
Шаг чекань за спиной, человечества треть.
Ведь недаром, конечно, нас учат вожди,
Что великое счастье — за них умереть.

Перед сотней всегда миллионы правы.
Надоела соха — карабины хватай!
Если мы не дойдем до далекой Москвы,
Значит, мы недостаточно любим Китай.

1967

¹ Первые четыре строчки — цитата из стихотворения Мао-цзэ-Дуна в переводе А.Гитовича.



Ленинград, 1953 г. Ю. Хаютиц, Т. Ильина.



Шестьдесят восьмой год запомнился мне еще одним весьма знаменательным событием. За несколько дней до отъезда во Францию, в конце января, в ленинградском Доме писателей состоялся литературный вечер, посвященный незадолго перед этим вышедшему из печати очередному литературному альманаху «Молодой Ленинград». На этом вечере выступали молодые поэты, чьи стихи были напечатаны в альманахе, в числе прочих были Татьяна Галушко, Иосиф Бродский и я. Оказалось, пока я разгуливал по Греноблю, орал «шайбу, шайбу» нашим славным хоккеистам, проигрывавшим чехам, и любовался утренним Парижем с монмартрского холма, в моем родном Питере разыгрался грандиозный скандал, связанный с упомянутым вечером. Группа воинствующих черносотенцев из литобъединения «Россия» при Ленинградском обкоме ВЛКСМ во главе с председателем этого «патриотического объединения» неким В. Щербаковым, присутствовавшая на вечере, написала довольно обширный донос в три весьма солидных организации сразу: в обком ВЛКСМ, Ленинградский обком партии и ЦК КПСС. В доносе выражалось «законное возмущение» услышанными на вечере «идейно чуждыми стихами и попустительством руководства Ленинградской писа-

тельской организации антисоветской и сионистской пропаганде, которую пытались вести выступавшие».

«Не имея с собой магнитофона, — писали авторы доноса, — мы не могли точно записать строчки антисоветских стихов и поэтому вынуждены писать по памяти». Я сейчас, так же, как и они, вынужден цитировать этот замечательный документ по памяти. Полностью он опубликован в повести «Ремесло» русского писателя Сергея Довлатова, безвременно скончавшегося в конце августа 1990 года в эмиграции, в Нью-Йорке. Донос этот имел настолько откровенно антисемитский характер, что по тем временам, когда официальный антисемитизм у нас стыдливо отрицался, выглядел довольно ярко.

Браня последними словами «антисоветчика Бродского», Щербаков и компания инкриминировали ему «тайный смысл» прочитанного на вечере стихотворения «Греческая церковь», где оплакивалась разрушенная в Ленинграде греческая церковь. «Не о греках стонет Бродский, а о евреях» — утверждали авторы доноса. «Поэтесса Татьяна Галушко, — писали они дальше, — на самом деле не Галушко, а Санасарян, посвятила свои стихи армянскому царю Тиграну Второму. С какой стати она вдруг посвятила стихи этому древнему и никому не нужному сегодня царю? А не потому ли, что он, как известно, приютил в Армении двести тысяч евреев?»

В мой адрес было написано следующее: «А. Городницкий сделал «открытие», что в русской истории, кроме резни, политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем да суеверной экзотики ничего не было». В заключительной части доноса негодующие «патриоты» в ультимативной форме требовали принятия самых строгих карательных мер: запрещения дальнейших публикаций и выступлений, отчуждения упомянутых лиц от писательской организации

и предания анафеме. Все эти требования были неукоснительно выполнены.

Два небольших стихотворения Иосифа Бродского, напечатанных в злополучном номере «Молодого Ленинграда», на долгие годы так и остались его единственной публикацией на родине. В июне 1972 года он был насильственно отправлен во вторую, на этот раз уже бессрочную, ссылку — не в деревню Норинское болотистого Копошского района Архангельской области, а за рубеж.

А. Городницкий.

Из книги «След в океане».





ЖЕНЩИНА

Моей матери

Нехитрый мой багаж в дорогу собран.
Мы огрубели. Не припомнить вдруг,
Каким цветным, загадочным и добрым
Казался мир из материнских рук.

Бредя таежным необжитым краем,
К чужим мирам протягивая нить,
Не слишком ли мы быстро забываем,
Что женщина учила нас ходить?

О детское святое нетерпенье!
Пусть снова нас очистит от грехов
Горластых птиц серебряное пенье
И медное звучание стихов.

Ударит в уши их вода живая,
Закружится от строчек голова.
Не слишком ли мы быстро забываем,
Что женщина открыла нам слова?

Опять тепло домашнего порога
Поманит посреди ночных дорог.
Учили нас, что нет на свете Бога,
Но если все же — был на свете Бог,
Рассыпан по полотнам и по строфам,
Он навсегда останется в веках
Не грозным всемогущим Саваофом,
А женщиной с ребенком на руках.

1970



Накануне Женского дня — самого торжественного праздника на судне — Игорь Белоусов предложил провести конкурс песен об Атлантиде. Почему вдруг об Атлантиде? Помимо всего прочего еще потому, что полигон наших работ в Атлантике тогда располагался между Азорскими и Канарскими островами, примерно там, где легендарный мистификатор древности Платон поместил свою мифическую Атлантиду. Мог ли я предполагать тогда, что именно здесь, в районе подводной горы Ампер, через десять с небольшим лет, я буду спускаться под воду в поисках этой сказочной страны?

На объявленный конкурс с неожиданной активностью откликнулись все — и экипаж, и наука. Сам капитан Соболевский участвовал в конкурсе и написал песню об Атлантиде. Было создано авторитетное жюри во главе со мной как единственным «профессионалом». Первое место не было присуждено никому. Второе поделили капитан и Игорь Белоусов. Я, естественно, как председатель жюри, участия в конкурсе не принимал, тем не менее песню написал. Справедливости ради следует сказать, что я предлагал эту песню (абсолютно безвозмездно) красавице Кларе, которая, помимо шахматных талантов, пописывала еще и стихи. Она, таким образом, могла принять участие в конкурсе и претендовать на призовое

место. Однако, разочарованная своей неудачей в шахматном турнире, девушка мое предложение с негодованием отвергла.

По итогам конкурса был устроен большой праздничный вечер на вертолетной палубе, расцвеченной разноцветными фонариками. После концерта претендентов и вручения призов начались танцы. Судно в это время, судя по навигационной карте, лежало в дрейфе где-то неподалеку от подводной горы Ампер. Мы с Игорем Белоусовым отошли на корму. Прямо перед нами, под кормовыми подзорами, дробилась на воде желтая лунная дорожка. «А что ты думаешь? — вдруг спросил Игорь, махнув рукой в сторону лунной ряби за кормой. — Может быть, она где-нибудь здесь?»

А. Городницкий.

Из книги «След в океане».





АТЛАНТИДА

Песня

Атлантических волн паутина
И страницы прочитанных книг.
Под водою лежит Атлантида —
Голубого огня материк.
А над ней — пароходы и ветер,
Стаи рыб проплывают над ней...
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.


Не найти и за тысячу лет нам —
Объясняют ученые мне —
Ту страну, что пропала бесследно
В океанской ночной глубине.
Мы напрасно прожектором светим
В этом царстве подводных теней.
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

Век двадцатый, войною палимый, —
Смерть прикинется теплым дождем...
Кто нам скажет, откуда пришли мы?
Кто нам скажет, куда мы уйдем?
Кто сегодня нам сможет ответить,
Сколько жить нам столетий и дней?..
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

И хотя я скажу себе тихо:
«Не бывало ее никогда»,
Если спросят: «Была Атлантида?» —
Я отвечу уверенно: «Да!»
Пусть поверят историям этим.
Атлантида — ведь дело не в ней...
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

1970





«Аппарат лег на грунт в 13 час 20 мин на глубине 110 метров, на южном склоне вершины горы Ампер. Координаты точки погружения: широта 35' 03" север, долгота 12' 53" запад. В поле зрения — скальные выходы коренных пород, хорошо видные на фоне белого детеритового песка и образующие прямоугольные гряды высотой около полутора метров, отдаленно напоминающие развалины домов. Видимость примерно 50 метров, поэтому можно работать без светильников. Всплываем над грунтом на 3—4 метра и ложимся на курс 90. На глубине 95 метров, в 200 метрах от точки погружения, ограниченный грядами коренных пород замкнутый прямоугольник длиной около 20 м и шириной 10 м, напоминающий «комнату». Высота стенок метр-полтора, ширина — около полуметра. «Дно комнаты» засыпано белым песком. У края стен — отдельные глыбы. Стенки сложены сильно измененным базальтом.

Движемся дальше вверх по склону. На глубине около 90 метров перед нами возникает вертикальная стенка высотой 2 метра и шириной — около метра. Ее поверхность полностью заросла мелкими красными водорослями — литатамниями. На их фоне просматриваются как бы следы «кирпичной кладки», очень напоминающие на самом деле кубическую отдельность, образующуюся при застывании излившихся базальтов. Стенка упирается в скалу. Вот хо-

рошо бы посмотреть характер контакта со скалой! Тогда будет ясно, сложена стенка человеческими руками или же это по трещине в старой скале внедрилась новая порция расплавленной базальтовой лавы и застыла, образовав «стенку». В последнем случае край скалы должен носить следы обжига расплавленной лавой. Булыга подводит аппарат вплотную — так, что наша «механическая рука» царапает скалу. Но вся эта часть наглухо закрыта сросшимися глыбами, покрытыми густыми водорослями, и характер контакта не виден.

Всплываем над скалой на пять метров, и перед нами снова открывается панорама прямоугольных гряд, чередующихся с долинами, засыпанными белым песком. На песке хорошо видны вытянутые борозды. Это так называемые рифели — следы сильного подводного течения, скорость которого на этой глубине достигает полутора узлов, — то есть почти столько же, сколько может давать наш «Аргус». Подходим вплотную к одной из гряд и обнаруживаем в стене большие изометрические ниши и каверны, явные следы разрушительного действия волн. Значит, стена эта была раньше на поверхности? Стена разбита трещинами, а сами трещины завалены базальтовыми глыбами, которые хорошо окатаны. Между глыбами — галька разного размера, значит, здесь гуляли когда-то волны прибоя. Да и края скал сильно разрушены выветриванием. Все это убеждает в том, что гора Ампер, сложенная вулканическими лавами, была когда-то островом.

Аппарат медленно поднимается над сильно разрушенными грядами. Интересно, что простирание этих гряд и «стенок» имеет два направления — северо-восток и юго-восток. Вершины напоминают зубья пилы. Где-то здесь мы потеряли в первом рейсе якорь: отдали его, а обратно выбрать не смогли — он заце-

пился за скалу и оторвался. Ничего удивительного при таком рельефе!

В одной из расщелин, прямо перед нами, проступает из зеленых сумерек тонкая нить, пересекающая наш курс. На ней борода водорослей. Лежащий рядом со мной Булыга настораживается, его мышцы напрягаются: перемет! Аппарат взмывает вверх, и опасная снасть остается под нами.

Аппарат продолжает двигаться курсом 90. На глубине около 90 метров выходим на стенку высотой около 2 метров и шириной полтора метра с отчетливыми следами «кладки». У ее подножия на песке — целая колония морских ежей. Поверхность стенки, сплошь заросшая литатамниями, плоская, как будто обработанная какими-то орудиями. Стена, так же, как и в предыдущем случае, упирается в сильно разрушенную скалу, но контакт завален камнями, и все попытки расчистить его оказываются безуспешными. Что это — дайка? Куда же в таком случае делся материал той породы, в которую дайка внедрилась? Может быть, древние и сильно разрушенные базальты вмещающей породы оказались размыты, а сама стенка, сложенная более молодым и прочным базальтом, осталась? Ответ на этот вопрос может дать только результат определения возраста базальтов, отобранных из скалы и из стенки. Подходим вплотную. Верхний край стены разбит на правильные кубики с гранью около 15 сантиметров. С трудом раскачивая аппарат из стороны в сторону, Булыга берет манипулятором два образца «кубиков» и кидает их в бункер.

Движемся дальше вдоль склона над грядой, ограниченной двумя параллельными стенками. Внутренняя поверхность стен разбита прямоугольными трещинами. Впечатление такое, что плывешь на «речном трамвае» по родной Мойке. В конце «кана-

ла» между стенами — пещера с полуразрушенным навесом из крупных обломков. Все вокруг засыпано галечником и скатанными глыбами. На стенах, разбитых глубокими трещинами, растут ярко-зеленые водоросли, напоминающие хвойные растения. Слева от нас — стена высотой около 20 метров, с большими расселинами. У ее подножья виден прямоугольник, засыпанный песком, посреди которого лежит изометрическая базальтовая глыба. Не это ли Почивалов принял за «жертвенник»? В конце сходящегося ущелья между стенами зияет пещера. Перед ней лежит большой электрический скат, полузарывшийся в песок. Заметив наше приближение, он неспешно скользит в сторону.

Идем вдоль края ущелья по его верхней части. Поверхность скал сильно расчленена и разбита трещинами. В одной из них лежит мурена. Долина под нами, засыпанная песком, напоминает горную реку, врезавшуюся в скалы. За краем гряды открывается новая долина. Впечатление такое, будто летишь на вертолете над заснеженной землей. На поверхности дна под слоем песка просматриваются следы прямоугольных гряд. Перед нами по курсу возникает новая гряда. В глубоких расселинах, пересекающих ее верхний край, видны обрывки сетей и переметы. Как поется у Высоцкого: «Там хорошо, но нам туда не надо».

Всплываем над грядой. Ее вершина напоминает сильно разрушенную башню. В верхней части «башни» к скале прилепился крупный осьминог. Подходим к нему вплотную и делаем фотоснимок. При вспышке света он дергается, как от удара. За грядой, внизу, на дне, овальное углубление в скале диаметром около тридцати метров, похожее на цирк. Рядом с ним — целый ярус рыбацких сетей. Да, здесь нужно быть начеку!

На глубине 78 метров перед аппаратом возникает тройное сочленение стен, утыкающихся в скалу. Делаем несколько фотоснимков. Сразу же за этим тройным сочленением, на глубине около 80 метров обнаруживается стенка со следами «кладки», аналогичная вышеописанной. Она упирается в скалу, в которой видна пещера. Над ней подобие свода. Вдоль стены к пещере ведут как бы ступени, засыпанные песком. Ширина ступеней около 2 метров. Делаем несколько фотоснимков. На внутренней стороне стены у ее основания — выступ шириной около 20 см. Ниже по склону, под «лестницей», — прямоугольный участок, засыпанный белым песком. Поверхность гладкая, покрытая литатамниями. У основания стены на территории прямоугольника лежит какой-то изометрический камень. Сильно разрушенный «свод» над пещерой отдаленно напоминает кладку радиально расходящихся камней. Неужели все это сделала природа?

Ложимся на курс 270 и движемся вдоль гряды на глубине 102 метра. У основания гряды на фоне песка видны на дне углубления, похожие на колодцы. Слева по курсу — стена с овальными нишами. У ее подножья — «колодец» диаметром около 3 м. Делаем снимок. Следуем дальше на глубине 101 м и фотографируем ниши в стене.

В 16 ч 30 мин, получив команду с «Витязя», отрываемся от грунта с глубины 108 м. Координаты точки всплытия — широта 35 03 15 с.ш., долгота — 12 53 15 з. д.».

*Из дневника подводных наблюдений
пилота-наблюдателя А.М.Городницкого
на вершине подводной горы Ампер с борта подводного
обитаемого аппарата «Аргус» в августе 1986 г.*



ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ

М. Соболевскому

Человек за бортом, человек за бортом!
Выбегай, судовую тревогой ведом,
Мотоботы — на тали, но только вперед,
Поворот шестьдесят, и еще — поворот.

Человек за бортом, человек за бортом!
Не разбить бы о борт, не ударить винтом,
Развернуться назад, и не сбиться с пути,
Потому что еще его надо найти.

Так всю жизнь, суется, мы куда-то спешим,
Переборки дрожат от работы машин,
Восемь баллов на ветре, туман — молоко,
Оступиться на палубе скользкой легко.

На борту электричество радует глаз,
Продолжается пляс, надрывается джаз,
Погибает (никто и не знает о том!)
Человек за бортом, человек за бортом.

Так не спи, как сигнальщик на вахте, поэт:
В целом мире нужнее профессии нет, —
Чтобы сердцем стучаться в тревожную грудь,
Чтобы флаг желто-красный на фалы тянуть,
И кричать в микрофон перекошенным ртом:
«Человек за бортом, человек за бортом!»

1970



Гиссарский хребет, 1954 г. Первая экспедиция.



ЛИШКЯВА

Сомневающемуся — кара:
Семя дьявола — дерзость ума.
Монастырь в деревушке Лишкява,
А под ним потайная тюрьма.

За чугунной узкою дверцей
Темнота — ни лица, ни слезы.
Беспощаднее, чем иноверцев,
Здесь ксендзов опекали ксендзы.

За невинный огрех виноватых
Здесь пытали их больше и злей.
Нету ката, страшнее собрата,
Преуспевшего в службе своей.

А когда, не стерпевшие боли,
Головою об стенку в углу, —
Не пускали и мертвых на волю,
В земляном зарывали полу.

Но, не ведая этих мучений,
Тусклой медью светил по утрам,
Полыхал позолотой вечерней
Над могилою каменный храм.

И в конце ежедневной обедни
Прихожан наставлял иерей,
Что страшней еретических бредней
Уклонение в вере своей.

1970



* * *

Родившись на Васильевском, давно,
Его считаю центром Ленинграда,
Но дом мой уничтожила блокада, —
На этом месте — здание кино.

Потом на Мойке жил я. В стороне
Мерцал Исакий в золотой обновке.
Как различилась убогость обстановки
И золото, горевшее в окне.

Но возникали новые места,
И было обживаться тяжело мне
На мутной Пряжке, в пушкинской Коломне,
У Старого Калининского моста.

Так, центробежной силою гоним,
Все дальше я перемещался, робок,
За кладбище, за поле, в серый дым
Пятиэтажных купчинских коробок.

А время незаметное ушло
В моих часах и сумерки пробило.
Мне город мой родной теперь чужбина, —
Отечество мне Царское Село.

Об этом вспоминаю всякий раз,
К вокзалу торопясь ночным трамваем.
Не мы с годами город покидаем,
А он с годами покидает нас.

1971



УШЕБТИ¹

В края Озириса ушедший,
Не бойся дальних берегов.
Сопроводят тебя ушебти,
Ответчики твоих долгов.

Они безропотны и вечны
Под мертвою твоей рукой,
Коричневые человечки
С мотыгой, с острою киркой.

Дымится ил на междуречье,
Тучнеют жирные стада.
Медлительна и бесконечна
В полях Озириса страда.

Я знаю, сколько бы ни прожил,
Уйду и я в то царство мглы.
И мне в лицо заглянут тоже
Глазами грустными волны.

В стране той, сумрачной и странной,
Мне перед Богом помоги,
Мой человечек деревянный,
Ответчик за мои долги.

1971

¹ Ушебти — в Древнем Египте статуэтки с сельскохозяйственными орудиями в руках, помещенные в погребении. По представлениям египтян, они должны были работать вместо покойного на загробных полях.

* * *

М. С. Волошиной

Природа нас спешит предостеречь.
Храпя, волна крадется к нам: «Попались!»
Черт над горою поднимает палец,
Но не вникаем мы в немую речь.

Природа нам твердит: «Не долг срок.
Уже леса превращены в кочевья.
Оборваны как беженцы, деревья
Бредут на юг понуро вдоль дорог».

Нам говорят: «Минуты коротки.
Опомнитесь, — безумны ваши планы:
Гусей неторопливых гидропланы
Летят на юг, втянувши поплавки».

А мы не понимаем ничего,
Идем в кино, дочитываем книжку
И молнии воспринимаем вспышку
Как яркий свет — не более того.

1971





КОНЧАКОВНА

Песня

Мой конвойный захрапел и дышит ровно,
Напрягает месяц ночи тетиву.
Выходи же на свиданье, Кончаковна,
На степную, на горячую траву.

Посмотри, в ночи река течет небыстро,
И кузнечики звенят, как бубенцы.
Зря друг друга уважают за убийства
Наши глупые и страшные отцы.

На Путивль я за полками не поеду,
Понапрасну над степями льется кровь, —
Три войны не достигают той победы,
Как одна лишь разделенная любовь.

Не укрою грудь горячую металлом,
Верный шлем свой позабуду и колчан, —
Чем сражаться нашим воинам усталым,
Лучше нам с тобой сражаться по ночам.

Мой конвойный захрапел и дышит ровно,
Напрягает месяц ночи тетиву.
Выходи же на свиданье, Кончаковна,
На степную, на горячую траву.

1972



АРХАНГЕЛЬСКОЕ

В Архангельском — перепелиный плач
Вечернею июльской порою.
Недвижно смотрят боги и герои
Поверх антенн и санаторных дач.

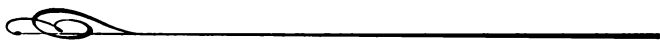
От заливного берега несется
Мычание и звон заречных стад.
Солдат стрижет траву машинкой. Солнце
Садится тяжело, как аэростат.

В Архангельском — оазис тишины.
Туман встает, как водяной из русла.
Не понимаю, отчего так грустно?
Так ярк свет, и тени так длинны!

Не оттого, что здесь, на берегу,
Гид причитает, словно проповедник,
Что красоту сажают в заповедник
И от людей, как зверя, берегут,

А оттого, что из окрестных сел
К нам сладкий дым отчества приходит,
И ощущение вечера во всем:
В твоих глазах, и в сердце, и в природе.

1972



ВЕСНА

Еще холодными ночами,
Под звонкою защитой льда,
В гнезде, покинутом грачами,
Ночует ранняя звезда.

Без прав на ордер и прописки
Она живет еще, пока
Хозяева у вод каспийских
О встречный ветер рвут бока.

Но очень скоро, очень скоро
Запляшет над ветвями сор,
И будет снова брошен город
Горластым птицам на разор.

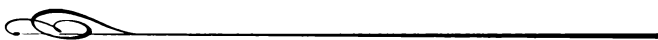
И под глумление сорочье,
Всю голубую от обид,
Они звезду погонят ночью
По самой длинной из орбит.

Еще снежок летит не тая,
Мороз предутренный жесток,
Но звезд разрозненные стаи
Летят на северо-восток.

1973



На реке Гербиячип, 1957 г., район Игарки.
Слева А. Городницкий.



СТАРЫЕ ВЕЩИ

В тельняшке этой лазил я на рею,
А в этой шубе, помню, был в Игарке.
Мы старимся, а вещи не стареют,
Хотя они ведь тоже — перестарки.

Пропахли вещи едким нафталином,
Не пахнут больше дымом и дождем.
Они, мы знаем твердо, не нужны нам,
И все-таки от них чего-то ждем.

Пиджак постылый сбросим поскорее,
Наденем эту славную одежду!
Мы старимся, а вещи не стареют
И нам внушают слабую надежду

Вернуть здоровье, странствовать по свету,
Стряхнуть, как платье, годы прожитые.
Всего и дел — надеть штормовку эту
И сапоги болотные литые!

Давно они в забвении глубоком,
Давно нам не нужны уже, и все же,
Пока они лежат у нас под боком,
Самим себе мы кажемся моложе.

1973



ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Поверив собственным болезням,
Сюда вернемся через год,
Где из груди горы Железной
Источник молодости бьет.

Густеют липкие туманы,
Орлиных крыльев стынет взмах,
И торопливые романы
Вершатся в парках и домах.

Все кошки вечерами серы.
Гремят оркестры по садам,
Где пожилые кавалеры
Дородных обольщают дам.

Отмеченный такой же метой,
Не скроюсь, как бы ни хотел,
Ни от листвы увядшей этой,
Ни от увядших этих тел.

Нам человеческой природы
Не удастся обмануть:
Мы верим в чудо или в воды,
Или еще во что-нибудь.

И листьев желтые конверты
Летят через осенний гам,
Нам говоря, что все мы смертны,
Но вечен этот балаган.

1975



ДОМ ЛЕРМОНТОВА

Дом Лермонтова в глубине двора,
С мартыновской хибаркой по соседству,
Нас возвращает к собственному детству,
Перемещая в школьное вчера,
Где девочка за синевой стекла
Четыре раза на день в равной мере
Была то Белой, то княжкою Мери,
И лишь собою только не была.
В апрельских почках набухала завязь.
В порту гремели цепи якорей.
Печоринными мы себе казались,
Но были мы Грушницкими скорей.
Доверчивой влюбленности пора,
Где мы наивно смешивали вместе
Дворянские понятия о чести
И нищенские кодексы добра.
Голодными глазами на тушонку
Смотрели мы, не ощущая боль
За общество, где стригли под гребенку,
А самых неподатливых — под ноль.
Мы старимся. Поэт остался юным.
Скала и грот. Покрытый лесом склон.

В ту арфу, где бряцал Эол по струнам,
Вмонтирован теперь магнитофон.
Экскурсия. Мальчишеские лица.
На что потомкам жизнью наших горсть?
И монотонный звук как лист кружится,
Слетая на осенний Пятигорск.

1975





БАЙДАРКА

Полине Мошиной

О, радостное чувство страха,
Когда на волжской глубине
Волна ударит в борт с размаха,
Как ударяют по струне!

И зазвенит непрочный остов,
Заплачут тихо струнгера,
И поплывет в забвенье остров,
Приютом ставший нам вчера.

Чем жили мы? О чем страдали?
Все вдаль течение унесло.
Ступнями ощути педали,
Возьми удобнее весло.

Скользящие навстречу села
И солнцем полная волна,
Твоей напарницы веселой
Худая гибкая спина.

В перкалевом недолгом доме,
Солоновата и горька,
Она ночами жгет ладони
Во мраке спального мешка.

Пространства влажное дыханье
Гуляет, воду теребя.

Теперь твое существование
Зависит только от тебя.

От воли (ею не вчера ли
Еще ты хвастался, мой друг?),
И от надежности дюрала,
Что вырывается из рук.

От мужества поспорить с силой
Ревущих оголтело вод,
От тех вещей, которых, милый,
Тебе всегда недостает.

Танцуют каменные стенки,
Песчаное танцует дно,
И ветер, как подручный Стеньки,
В два пальца свистнет озорно.

И нас лишая дара речи,
Весь в пароходах, голубой,
Огромный мир летит навстречу,
Переполняя нас собой.

1975





БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ

Художники, если вам боль причинили,
И вам не поладить с начальством своим,
Опять перечтите записки Челлини,
Ища утешенья в сравнении с ним.

Учитесь, как он, овладению шпагой,
Потачки врагу не давайте ни в чем,
Себя защищая с такой же отвагой
Копьем, аркебузой, пером и мечом.

Смотрите без дрожи на герцогов грозных,
Попроще металл для литья подобрал.
На много веков сохраняется бронза,
А золото завтра пойдет в переплав.

Пируйте с друзьями и спите спокойно,
Найдя утешенье в резце и вине:
Взлетают и падают цены на войны, —
Искусство всегда остается в цене.

А если не в силах вы сдерживать ярость,
На знатных хозяев обиду тая,
Седло вам — как лодка, и плащ вам — как парус,
И ветер попутный в другие края.

Не слушайте критиков, важных и строгих, —
Не ведают критики, что мы творим.

Спешите, покуда открыты дороги
Из Вены в Париж, из Венеции в Рим.

Змеятся по склонам упорные тропы,
Где тур продирается в чаще, треще,
И ветер свободы гудит над Европой,
Вздувая тяжелые складки плаща.

1975





СЕРГИЕВ ПОСАД

Антоновкой пахнет в Загорске.
Толпится у храмов народ.
Убогих просящие горсти
Приветствуют нас у ворот,
В обители края лесного,
Что видела только вчера
Бесславный конец Годунова
И страх молодого Петра.
Торопятся пеший и конный,
Вскипает смола, горяча,
Но под чудотворной иконой
Горит, не сгорая, свеча.
И к пушечным выстрелам глухи,
Не слушая крики и стон,
Пред аналоем старухи
Себя осеняют крестом.
Меняются флаги и гимны, —
Паломницы те же на вид.
Рождаются царства и гибнут —
Небесное царство стоит.
Стрелы с подожженной паклей
Мы в кровлю по-прежнему ждем.
В Загорске антоновкой пахнет
И первым осенним дождем.

А в воздухе пряная свежесть,
Березовых веников дух.
Старухи глядят на приезжих,
Приезжие — на старух.
Друг друга услышать не в силах,
Не в силах друг друга понять,
Две чуждых веками России
Глядят друг на друга опять.

1975





Буквально через год новый наш «режимник», тоже, конечно, полковник, — коренастый и плотный, с вьющимися волосами, низким лбом римлянина и густым румянцем постоянно пьющего человека, вызвал меня к себе в кабинет. Закрыв за мной тяжелую бронированную дверь, он достал из такого же бронированного сейфа толстую папку с какой-то перепиской. На одной из бумаг в правом верхнем углу красовался гриф «совершенно секретно». Рядом с папкой он неожиданно положил извлеченный из того же сейфа уже знакомый мне номер красочного журнала «Наука в СССР», печатавшегося на четырех языках и рассчитанного на за границу. Как раз в этом номере были опубликованы две мои научно-популярные статьи и стихи.

«Вот, полюбуйтесь, это ведь ваши стихи?» — сунул он мне под нос раскрытый журнал. На открытой странице жирным красным карандашом были подчеркнуты несколько строк из моего стихотворения «След в океане»:

Ученые немало лет
Гадают за закрытой дверью,
Как обнаружить этот след,
Чтоб лодку выследить, как зверя.
Среди безбрежной синевы
Их ожидают неудачи,
Поскольку нет следа, увы,
И нет решения задачи».

«Так вот, — внушительно произнес мой собеседник, налюбовавшись моим недоумением и похлопав короткопалой рукой по папке с документами. — Из-за этой вашей публикации уже полгода ведется специальная переписка между ВПК, КГБ и Академией наук. Поскольку вы являетесь сотрудником Института океанологии, то прочитавший ваши стихи по этим строчкам может догадаться, что в нашем Институте ведутся закрытые работы по обнаружению подводных лодок по их турбулентному следу. А это уже — разглашение государственной тайны. Понимаете, какие последствия это должно иметь для вас?» Я побледнел. «Однако, — продолжал полковник, — тщательная проверка вашего досье показала, что вы к таким работам никогда доступа не имели и ознакомиться с этими строгорежимными материалами не могли. Как же вы ухитрились так точно сформулировать задачу, да еще в стихах?» «Это просто случайное совпадение, — залепетал я. — Вот ведь Жюль Верн еще в девятнадцатом веке сколько всего разного напридумывал наперед и очень точно». «Ну что же, — без тени улыбки произнес мой собеседник, — мы и товарища Жюля Верна привлекли бы к ответу, попадись он к нам. В общем, так. Решено в отношении вас ограничиться пока профилактической беседой. А вы идите, но впредь на скользкие и опасные темы стихи не пишете».

*А. Городницкий.
Из книги «След в океане».*





СЛЕД В ОКЕАНЕ

Луна над бездною немой
Горит, как дальнее окошко.
Смотрю назад, где за кормой
Кружится водяная крошка.

Там пенный след вскипает, крут,
На дне бездонного колодца,
А через несколько минут
Волна волной перечеркнется.

С водою сдвинется вода,
Сотрет затейливый рисунок —
Как будто вовсе никогда
Ее не вспарывало судно.

Ученые немало лет
Гадают за закрытой дверью,
Как обнаружить этот след,
Чтоб лодку выследить, как зверя.

Среди безбрежной синевы
Их ожидают неудачи,
Поскольку нет следа, увы,
И нет решения задачи.

И ты, плывущий меж светил,
Недолг на своей орбите,
Как этот путь, что прочертил
По небосводу истребитель,

Как облаков холодный дым,
Что завивается, как вата,
Как струйка пенная воды,
Что называется «кильватер».

События недолгих лет
Мелькнут, как лента на экране,
И ты пройдешь, как этот след
В невозмутимом океане.

1977





РУБИКОН

Рассветное солнце доспехи зажгло,
Открыло заречные дали.
Прибрежная галька хрустит тяжело
Под шагом солдатских сандалий.

Пусть бьет барабан и буцина гудит
Бойцам моим пешим и конным —
Победа и слава нас ждут впереди,
На том берегу Рубикона.

Узнать не позволит нам волю богов
Бесмысленных жертв приношенье.
Пусть делится мир на друзей и врагов —
Я сам принимаю решенье.

Стрела ли оставит свой след на виске,
Топор ли ударит законно —
Я жду вас, друзья, на горячем песке
На том берегу Рубикона.

Дорога обратно заказана мне
За эту узкую Летой.
Чтоб верить в победу на той стороне,
Оставим сомненья на этой.

Смелее же, лучник, свой лук натяни, —
До отдыха недалеко нам,
Там все отдохнем мы, в зеленой тени
На том берегу Рубикона.

1976





ТОКИО

Мимо узких и темных проулков
Мы по улице длинной и гулкой
Вслед за всеми куда-то спешим.
Пахнет дымом, железом и смазкой,
Полисмены в резиновых масках
Управляют движеньем машин.

От подножья безлюдного храма
Смотрит Будда недвижно и прямо
На несущийся мимо поток,
И презрительно щурится Будда,
Замечать не желая как будто
Современности жалкий итог.

О страна двадцать первого века,
Где нельзя отыскать человека
И газоны не пахнут травой,
Где над гарью бензиновой синей
Поезда монорельсовых линий
Издают продолжительный вой!

Где наборы в коробках из плекса
Для любых разновидностей секса —
Заменители бывшей любви,

Где sake согревает стаканы,
А в окне — силуэт эстакады
И закатное небо в крови!

Я вернусь к себе в Павловск и Пушкин,
Я пройду по зеленой опушке,
Где озера синеют вдали,
Где кукует лесная кукушка,
И тебе в одиночестве скучно,
И пока еще много земли.

Будет лист надо мною кружиться,
Пролетит в отдалении птица.
Ах, какая стоит тишина!
А беда все встает, нависая, —
Так на тонком листе Хокусая
Нависает морская волна.

1978




* * *

Когда пытаюсь мысленно назад
Пройти путем забытым и не близким,
Я вспоминаю Соловьевский сад
С Румянцевским высоким обелиском,
Дощатую эстраду, что листвою
Засыпана неярким днем осенним.
Там, кажется, оркестр духовой
Перед войной играл по воскресеньям.
В саду чередовались свет и тень.
По узкому пустому переулку
В числе других присмотренных детей
Меня туда водили на прогулку.
Заканчивался год сороковой,
Кончался марш, старинный и прощальный,
И шпиль Адмиралтейства над Невой
Светился, словно лучик вертикальный,
И не казался голосом судьбы
Спокойный звук стихающей трубы.

1978





Люк задраен. Холмов включает микрофон подводного телефона: «Витязь, я Аргус. Прошу разрешить погружение». В ответ слышится: «Аргус, я Витязь. Погружение разрешаю». Солнечный свет в иллюминаторе начинает гаснуть. Аппарат поскрипывает. Капли соленой воды из-под люка падают мне на спину. Вплотную прикипаю к стеклу. Мелкие пузырьки воздуха стремительно проносятся кверху. Рядом с ними медленно перемещаются вверх большие белые хлопья, похожие на снег. Вспоминаю, как во время моего первого погружения в Тихом океане я спросил у командира аппарата: «Саша, почему они всплывают?» И он насмешливо ответил: «Это планктон. Не он всплывает, а мы погружаемся».

В отсеке снова звучит голос Холмова: «Витязь, я Аргус. Глубина сорок метров. Продолжаю погружение». Снова две холодные капли обжигают разгоряченную спину. И опять вспоминаю 78-й год.

Это было время, когда специализированных судов-носителей подводных аппаратов еще не было, и «Пайсис» опускался прямо с борта «Дмитрия Менделеева». Мне с большим трудом удалось попасть в число научных наблюдателей. Уже опытные подводные пилоты Александр Подражанский, Анатолий Сагалевич и Владимир Кузин относились к нам, новичкам, покровительственно и несколько насмешливо. Еще бы — у них за плечами были многочис-

ленные погружения у берегов Канады и на Байкале. Об этом писали все газеты. Они были настоящими героями, подводными «волками», а мы — робкими «чечако». Тогда погружения на «Пайпсах» в океане только начинались. Аппараты, не имевшие специальных помещений на судах, стояли просто на верхней палубе, что не улучшало их состояния. Иногда поэтому возникали отказы разных систем.

Инструктируя нас, пилоты строго предупреждали, что в обязанности подводного наблюдателя входит прежде всего следить за неполадками в электросети (короткое замыкание может привести к пожару — так уже погиб один американский экипаж), за герметичностью обитаемого отсека (водяная тревога) и за системой очистки отсека от углекислого газа. Обо всех нарушениях надо срочно докладывать командиру. Мы должны также научиться управлять аппаратом, чтобы «в случае, если два других члена экипажа выйдут из строя, обеспечить его всплытие».

Наставляя меня, Саша Подражанский сказал: «Ну, это-то вряд ли понадобится: в случае чего, ты первый загнешься». И улыбнулся: «Ну что, нагнал на тебя страху? Пойдем лучше выпьем».

«Во время первого погружения, — говорят пилоты, — от наблюдателя проку мало — он обалдевает». Действительно, в это время находишься в состоянии, «близком к эйфории». Я как-то спросил одного из наших солидных ученых, первый раз в жизни участвовавшего в погружениях, о его впечатлениях. «Понимаешь, — ответил он мне, — когда задраили люк и аппарат стал погружаться, и все вокруг как-то странно заскрипело и закачалось, я подумал: «Господи, и зачем я сюда залез, чего мне в жизни не хватало?». «Молодец, что не врешь, — засмеялся я, — со мной в первый момент было то же самое».

Так вот, во время первого погружения на «Пайсисе» в Тихом океане, на атолле Хермит, я старался ни в коем случае не показывать своего волнения и в то же время внимательно следить за всем, что грозит аварийной ситуацией. Помнится, мы уже легли на грунт на склоне океанского вулкана на глубине 400 метров, и я только начал, про все позабыв, увлеченно диктовать на магнитофон первые наблюдения, как вдруг мне на спину что-то капнуло. Я поднял голову, и в лицо мне брызнула вода. Вглядевшись, я, несмотря на жару, похолодел: от крышки люка в верхней части отсека медленно змеились струйки.

«Саша, вода», — окликнул я командира казалось бы спокойным, но, как выяснилось, сдавленным голосом. «Не бери в голову», — ответил он, не оборачиваясь и не отрывая рук от рычагов управления. Оказалось, что при погружении подводный аппарат попадает из теплых верхних слоев океанской воды в нижние — холодные. Из-за охлаждения внутри обитаемого отсека образуется конденсированная вода. Новичков об этом не всегда предупреждают — то ли по забывчивости, то ли чтобы испытать их «на прочность».

*А. Городницкий.
Из книги «След в океане».*





ПЕСНЯ ПОДВОДНОГО ПИЛОТА

Не пиши тревожных писем мне,
Не зови немедленно назад:
В океанской темной глубине
Нас несет подводный аппарат.
Я плыву беззвучно, как во сне,
Надо мною — ни буюв, ни вех.
За окном планктон идет, как снег, —
Это значит, мы всплываем вверх.

Говорил тебе я много раз —
Ты важней всего в моей судьбе,
Но важны не менее сейчас
Кислород, насос и ЦГБ, —
Чтоб звенел серебряный твой смех,
Чтобы день весенний не померк.
За окном планктон идет, как снег, —
Это значит, мы всплываем вверх.

Это значит, в норме все пока,
Как и быть, конечно же, должно,
И поднимем снова мы бокал,
И прокрутим новое кино.
Если б жизнь иную дали мне,
Я б ее, наверное, отверг.
За окном планктон идет, как снег, —
Это значит, мы всплываем вверх.

1978




Нас
осталось
мало





На фестивале памяти В. Грушина, 1976 г.
Сидят слева направо: Т. Никитина, Ю. Визбор, С. Никитин,
А. Городницкий, В. Егоров, А. Дулов.



Слуцкий вошел в мою жизнь в 1959 году, хотя стихи его, конечно, мы знали раньше. Их тогда, практически, не печатали, и распространялись они на слух или в списках. Вообще середина и конец пятидесятых годов — это начало раздвоения нашей литературы на официальную печатную и неофициальную «непечатную», которая ходила в списках или слепых машинописных копиях на папиросной бумаге. Так было положено начало «самиздата». Со стихами же было проще: их нетрудно было запомнить наизусть. Первые же услышанные (именно услышанные, а не прочитанные) стихи Бориса Слуцкого (это, кажется, были «Евреи хлеба не сеют» и «Нас было семьдесят тысяч пленных...») поразили меня своей истинно мужской и солдатской, по моему тогдашнему мнению, жесткостью и прямоотой, металлической точностью и весомостью звучания, совершенством монолитной строки с единственностью ее грозной гармонии. Впечатление было таким сильным, что до сих пор я читаю стихи Слуцкого с листа вслух.

Моими любимыми поэтами тогда были Редьярд Киплинг (разумеется, в переводах, ибо мое скудное знание английского ни тогда, ни позднее не позволяло читать его в подлиннике), Гумилев, ранний Тихонов, Багрицкий. Сюда относились также некоторые стихи Луговского («Басмач», напоминающий перевод из Киплинга), «Стихи 39 года» Симонова и что-

то еще. Во всех этих стихах меня привлекало мужественное звучание, активное вторжение авторов в окружающий мир, яростная экспрессия звучных, как металл, строк. Поэтому Борис Слуцкий, которого я сразу же отнес к перечисленному любимому ряду, произвел на меня сильнейшее впечатление и стал настоящим открытием.

То было время юного идолопоклонничества, и я тут же объявил для себя Бориса Слуцкого первым поэтом. Еще бы! Такие стихи, да еще легендарная биография — боевой офицер, прошел всю войну «от звонка до звонка». Преклонению моему не было предела. Помню, в ноябре 1961 года, во время встречи в Москве с Иосифом Бродским в доме общего нашего приятеля — поэта и прозаика Сергея Артамонова меня страшно шокировало, что молодой Иосиф фамильярно называет этого выдающегося поэта Борух. «Как ты можешь, — возмутился я, — говорить о Борисе Абрамовиче в таком тоне?» «А как же его прикажешь величать? — искренне удивился Бродский, особой скромностью в те годы не отличавшийся. — Все эти Борухи и Дезики — только для тебя поэты. Их можно поставить в одну шеренгу и рассчитать на «первый-второй». Все это останется бесконечно далеким от истинной поэзии, которую представляю только я».

Так или иначе, но известие о том, что Борис Слуцкий приезжает в Ленинград читать стихи в Технологическом институте и университете, мигом облетело весь город, и мы, молодые «горняки» из литобъединения Горного института, решили обязательно добиться встречи с ним.

Внешний облик Слуцкого, увиденного на сцене в Технологическом, где он выступал вместе с Евгением Евтушенко, произвел на меня серьезное впечатление, так как полностью совпал с ожидаемым пред-

ставлением об авторе услышанных стихов. Полувоенный френч, строгий и независимый вид. Никаких улыбочек и заигрываний с аудиторией. Седые, аккуратно подстриженные усы. Подчеркнутая офицерская выправка, усугубляемая прямой осанкой и твердой походкой. Лапидарные рубленые фразы с жесткими оценками, безжалостными даже к самому себе. Помню, кто-то попросил его прочесть уже известное нам тогда стихотворение «Ключ»: «У меня была комната с отдельным входом...»). Он отказался. «Почему?», — спросили его, и он строго ответил: «Потому, что это пошляцкое стихотворение». «Господи, — подумал я, — если он к себе так безжалостен, то что же он скажет о наших стихах?» И непреодолимое мазохистское желание показать этому олимпийскому громовержцу свои стихи и услышать его пусть беспощадное, но истинное суждение овладело мною и моими товарищами по горняцким музам.

На этом грозном фоне выступавшего перед Слуцким молодого Евгения Евтушенко, читавшего, кстати сказать, очень неплохие стихи: «О, свадьбы в дни военные, обманчивый уют, слова неоткровенные о том, что не убьют...», мы почти и не заметили.

Не помню уж, кому и как удалось уговорить его встретиться с нами — молодыми ленинградскими поэтами «глеб-гвардии семеновского полка», как мы себя тогда называли по имени нашего руководителя Глеба Семенова. Встреча состоялась у Леонида Агеева, жившего со своей тогдашней женой Любой и только что родившейся дочерью в конце Садовой, на Покровке, именуемой площадью Тургенева, в коммунальной квартире на первом этаже огромного, с несколькими дворами, по-ленинградски закопченного старого доходного дома. В тесную комнатунку Агеева набилось человек двадцать поэтов, их жен и

подруг. Было закуплено сухое вино, к которому, однако, прикасаться не разрешалось до прибытия высокого гостя.

Наше ЛИТО было, кажется, в полном составе: кроме меня и хозяина дома присутствовали Елена Кумпан, Нина Королева, Олег Тарутин, Володя Британишский, Шура Штейнберг, Саша Кушнер, Глеб Горбовский, Яков Виньковецкий, Андрей Битов и еще несколько поэтов и болельщиков. Все изрядно волновались, хотя вида старались не показывать, поэтому разговор не клеился. Наконец прибыл Слуцкий, не один, а со своим старым, как он сказал, другом — полковником Петром Гореликом. Этот курчавый, черноволосый полковник, снявший штатское пальто и оказавшийся в щегольской офицерской диагоналевой гимнастерке, перехваченной в талии скрипучим ремнем и увешанной орденами и медалями, был для нас, вчерашних блокадных мальчишек, как бы наглядным воплощением того недосягнутого нам всем фронтового героизма, поэтическим олицетворением которого являлся Борис Слуцкий. Это усилило всеобщее смущение. Борис Абрамович строго посмотрел на нас, прищурился и неожиданно произнес: «Вот вы, ленинградцы, все время без конца твердите, что любите и хорошо знаете свой родной город. Кто из вас сейчас перечислит мне двадцать общественных уборных?». Мы были шокированы этой — чисто московской — шуткой, однако напряжение начало спадать. Пошли в ход сухое вино и самодельный винегрет хозяйки Любы. Разговор, однако, приобрел характер вопросов и ответов, причем спрашивали не мы гостя, а он нас. Строго и пунктуально он требовал немедленной информации о нас самих, о наших специальностях, зарплате, кто где печатается или не печатается и почему. Кажется, не было ни одной мелочи, к которой он не проявил

бы живейший интерес. О том, чтобы задать какой-нибудь вопрос ему, не было даже речи. Дошло дело до стихов. Слуцкий вел себя властно и, на первый взгляд, бесцеремонно. Он мог оборвать читающего, сбить его каким-то совершенно неожиданным вопросом или категорическим мнением. При всем этом стихи он слушал с огромным вниманием, как будто сразу безошибочно определял их качество. Больше других ему понравились стихи Лени Агеева, и он тут же об этом заявил: «Вот настоящий поэт. У него ничего не придумано, а все прямо из жизни, а не из книжек. И стихи жесткие и суровые, в них виден будущий мастер. Вот кто будет большим поэтом!».

Как ни странно, стихи Глеба Горбовского, который тогда ходил у нас в главных генях, произвели на него меньшее впечатление.

Александрю Кушнеру он сказал: «Скучные стихи. Правда, стихи, но унылые. И фамилия — Кушнер. Еврейская фамилия. С такой фамилией печатать не будут». «Но у вас же тоже еврейская», — возразил кто-то робко. «Во-первых, не еврейская, а польская. А во-вторых, меня уже знают», — отрезал он. Спорить с ним, естественно, никто не осмелился.

Когда дело дошло до меня, я дрожащим голосом стал читать какие-то, как мне казалось, лирические стихи. «Ну, это для Музгиза», — беспощадно сказал Слуцкий, выслушав их. Я попытался прочесть другие, но он перебил меня на середине и заявил: «А вот этого даже Музгиз не возьмет. А как ваша фамилия? Городницкий? Ну, это вообще ни в какие ворота... Мало того, что тоже еврейская, так еще и длинная. Такую длинную фамилию народ не запомнит». Я уже совершенно упал духом, как вдруг он спросил, нет ли у меня каких-нибудь стихов про войну, и я срывающимся от отчаяния голосом, уже ни на что не надеясь, стал читать незадолго перед

этим написанные стихи «Про дядьку». Стихи эти неожиданно для меня Слуцкому понравились. Он вызвал из коридора своего друга Горелика, вышедшего покурить, и заставил меня прочесть стихотворение еще раз, сказав: «Повторите, — полковникам такие стихи слушать полезно».

«Если, начиная писать стихи, — сказал он нам, — ты заранее знаешь, чем кончить стихотворение, брось и не пиши: это наверняка будет плохие стихи. Стихотворение должно жить само, нельзя предвидеть, где и почему оно кончится. Это может быть неожиданно для автора. Оно может вдруг повернуть совсем не туда, куда ты хочешь. Вот тогда это стихи».

Рассказывал он и о мало еще известных в то время своих однокашниках — ИФЛИЙцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Больше всех о Павле Когане — авторе уже любимой нами тогда «Бригантины» и Михаиле Кульчицком, которого он, как и Давид Самойлов, считал самым талантливым из всех своих сверстников. Тогда от него мы впервые услышали широко известные теперь стихи Михаила Кульчицкого:

Я думал, — лейтенант

Звучит: «налейте нам»,
И, зная топографию,
Он топает по гравию.
Война — совсем не фейерверк,
А просто трудная работа,
Когда, черна от пота, вверх
Ползет по пахоте пехота.

Несколько лет спустя Давид Самойлов, тоже припомнив именно эти стихи, сказал: «Вот замечательные строчки. Почему у Кульчицкого пехота ползет «вверх по пахоте»? Да потому, что ползти так трудно, что кажется, ты лезешь все время куда-то вверх».

Рассказывал Борис Слуцкий и о неукротимом характере Кульчицкого. Говорил, что когда Кульчицкого друзья-поэты (им тогда было по девятнадцать-двадцать, а многим так и осталось) обвиняли, что он порой брал у них понравившиеся ему строчки и беззастенчиво использовал в своих стихах, тот отвечал: «Подумаешь! Шекспир тоже обкрадывал своих малоодаренных современников».

...Второй раз я увидел Бориса Слуцкого уже в Москве, в 1963 году, в его небольшой, увешанной картинами без рам квартире неподалеку от метро Сокол, в Балтийском переулке, где он жил вместе с женой Таней, и куда я получил от него приглашение зайти. Все тем же строгим тоном он примерно полчаса выпрашивал у меня все ленинградские литературные и нелитературные новости, а потом сказал: «Ну что ж, читайте, посмотрим, на что вы теперь способны». После недолгой читки последовала прямая и жесткая зубодробительная критика, не оставившая от прочитанных стихов камня на камне. Справедливости ради следует сказать, что, когда я сейчас перечитываю стихи, которые осмеливался читать тогда Слуцкому, мне становится страшно... Я совершенно не понимаю, как он мог столь терпеливо слушать эти беспомощные, плохо зарифмованные вирши, да еще и обсуждать их. «Из дерьма строишь свои стихи, из песка. Это не материал. Учись у Андрюши Вознесенского, как надо работать со словом, как надо ваять его из камня, каторжно работать. Из камня, а не из песка. А не будешь учиться — так Коржавиным и помрешь». Меня эти слова крайне удивили. Я уже знал широко распространяемые в то время в списках стихи Наума Манделя-Коржавина, и они мне как раз очень нравились, чего никак нельзя было сказать о стихах Андрея Вознесенского, несмотря на их внешнюю

мастеровитость и сложность. А вот Коржавина я любил, и он был мне по духу близок. Особенно стихи «Мужчины мучили детей» и замечательное восьмистишие, посвященное русским женщинам:

Столетье промчалось, и снова,
Как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Надеть подвенечный наряд,
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

Я не стал спорить со Слуцким и только через много лет понял, что он имел в виду. Прощаясь, он неожиданно спросил: «Вам деньги нужны? Если нужны, я вам дам». Оказалось, что он многих молодых поэтов ссужал тогда деньгами, хотя и сам не был особенно богат. Важнее другое: заметив мой интерес к живописи, развешанной на стенах, он спросил: «А вы никогда не видели картин Филонова? Даже не знаете такого художника? Ну, это позор, хотя откуда вам его знать? Вот что, я вам сейчас напишу записку к его сестрам. Они живут в Ленинграде, на Невском. У них хранятся многие его работы. С моей запиской они вас пустят. Это надо смотреть». И через несколько дней я уже звонил в старую и обшарпанную дверь коммуналки во дворе кинотеатра «Аврора» на Невском, где в страшной нужде жили две пожилые сестры одного из самых крупных художников нашего столетия, основоположника знаменитой «филоновской школы», умершего в блокаду. Меня поразила скромность их быта, отсутствие самого необходимого. Медленно двигаясь и переставляя картины и рисунки, при слабом свете несильной электрической лампочки они показывали замечательные работы Филонова, из кото-

рых более других поразила меня «Первая симфония Шостаковича». Старухи оказались истинными ленинградками. С грустной гордостью рассказывали они мне, что Русский музей отказывается брать работы Филонова в свои запасники даже даром, ссылаясь на отсутствие помещения. Что приходили к ним американцы и предлагали огромные деньги в валюте, но что они скорее умрут, чем отдадут это за границу. Что рисунки и картины гибнут здесь, в коммунальной квартире, осыпаются краски и карандашный графит, а у них нет даже бумаги, чтобы переложить рисунки и акварели. Помню, я принес им несколько рулонов кальки и миллиметровой бумаги. Борис Слуцкий любил живопись и был большим ее ценителем. Правда, нравилось ему не все. Известный художник Борис Биргер говорил как-то мне, что Слуцкий в живописи ничего не понимал, что «у него были дырки вместо глаз». А я при этом вспомнил историю с Филоновым...

В течение шестидесятых и самом начале семидесятых годов, до его тяжелой болезни, я встречался с Борисом Слуцким несколько раз. Несмотря на внешнюю суровость, он оказался человеком удивительной чуткости и доброты и крайне ранимым. Все время возился с молодыми поэтами, вел литературные объединения. Работа эта не всегда была благодарной, да и молодые поэты порой свысока поглядывали на своего мэтра, совершенно не понимая, видимо, какая бесконечная дистанция их разделяет.

В конце шестидесятых мы неожиданно встретились с ним в Коктебеле, где он жил в Доме творчества писателей. Его жена Таня тогда уже была неизлечимо больна, и он, как мог, окружал ее трогательнейшей заботой.

Ходил он при этом по вечерам по набережной все с той же прямой и суровой осанкой отставного гене-

рала. Увидев меня, он потребовал, как и обычно, творческого отчета и потащил к себе в писательский корпус. Кроме него и Тани, слушали меня литературовед Апт с женой и поэтесса Юлия Друнина, сделавшая, кстати, несколько дельных замечаний по песне «Романс Чарноты». Большую часть прослушанных стихов он, как будто, одобрил, но одно стихотворение — «Державин» — привело его в неопишную ярость. В стихотворении речь шла о старом Державине.

Я читал:

Не звала чуму на дома
Од высокая хвала,
И поэта на приемы
Государыня звала.
Молодой державы гордость,
Отрывался он от книг,
Шей старческой нетвердость
Прятал в твердый воротник.

«Стоп, прекратить читать! — закричал неожиданно Борис Абрамович. — Это безобразные стихи. Полное неприличие». «Почему?» — спросил я, растерянный его внезапным гневом. «А потому, — сказал он сердито, — что Державину было всего лишь немного за пятьдесят, и у него не могло быть дряблой шей».

Жизнь не баловала Бориса Слуцкого. Судьба отняла у него двух самых близких людей — мать и жену. Обе болели долго и умерли у него на руках. Он остался одиноким.

*А. Городницкий.
Из книги «След в океане».*





**ПАМЯТИ
БОРИСА СЛУЦКОГО**

В поэзии определяет случай,
Что принимать за образцовый стих.
Был ближе всех мне в молодости Слуцкий:
Прямолинейность слов его простых,

Его одежда бывшего солдата,
И строгий ус, и бритая щека.
Был мир его сколочен грубовато,
Но, мне тогда казалось, на века.

Суровых строк неистовая вера
Была жестка, и жестким был он сам.
Удачнее не знаю я примера
Такого соответствия стихам.

И ученик в его огромном цехе,
В нем отыскав начало всех начал,
Я ждал его безжалостной оценки
(А больше тройки я не получал).

Куда теперь от веры этой деться?
Кто нас ободрит? Кто укажет путь?
Оплакиваю собственное детство,
Которое обратно не вернуть.

1978



СЧАСТЛИВЫЙ ВЯЗЕМСКИЙ

Песня

В саду созрели сливы,
И осень на дворе.
Спит Вяземский счастливый
В пустом монастыре.
Спокойным и богатым
Он прожил много лет —
Пример аристократам,
Сановник и поэт.

Он другу в двадцать пятом
Писал обиняком:
«Сажать цветы — куда там
При климате таком!
Вредна России смута.
Одумайся, мой свет:
Нельзя служить чему-то,
Чего и вовсе нет!»

Чужих столетий войны
Шумят над головой.
Спит Вяземский достойный
Под желтою травой.
Берег он для отчизны,
Но не сберег, увы,
Ни Пушкина при жизни,
Ни честь его вдовы.

Приливы и отливы —
Погода в сентябре.
Спит Вяземский счастливый
В пустом монастыре.
И, счастья верный признак,
Курчавый, словно дым,
Знакомый с детства призрак
Витает рядом с ним.

1979





Ленинград, 1965 г. Клуб «Восток».
Справа А. Канс.

ПЕСНЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО

И. Губерману

Знакомые граждане и гражданки,
Передаю вам пламенный привет.
Спит вся Москва, и только на Лубянке
Не гаснет свет, не гаснет свет.

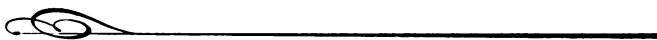
Нас с детства учат мудрости привычной:
Не трогают тебя — и ты не тронь!
А мы стремимся к правде горемычной,
Как бабочки стремятся на огонь.

Мне у барака сумрачные ели
Придется наблюдать еще не раз.
С тобой давно мы в том огне сгорели.
А кто-то в нем сгорает и сейчас.

Мне век не знать ни бабы, ни полбанки,
Назад дороги не было и нет.
Спит вся Москва, и только на Лубянке
Не гаснет свет, не гаснет свет.

1979





ХУДОЖНИК КУЯНЦЕВ

В убогом быту коммунальной квартиры,
В своей однокомнатной секции-клетке
Художник Куянцев рисует картины, —
Они на стене — словно птицы на ветке.

Художник Куянцев, он был капитаном,
И море — его постоянная тема.
Две вещи он может писать неустанно:
Простор океана и женское тело.

Лицо его сухо, рассказы бесстрастны:
Тонул, подрывался, бывал под арестом.
Он твердо усвоил различие в красках
Меж нордом и зюйдом, меж остом и вестом.

Упрятаны в папки его акварели,
Полны необъятного солнца и ветра,
И я закрываю глаза — неужели
Бывает вода столь различного цвета?

Но в праздничность красок вплетается горе,
Поскольку представить художнику трудно
Цветущие склоны без форта, и море
Без хищной окраски военного судна.

И снова этюдник берет он, тоскуя,
И смотрит задумчиво или сердито
В окно на дома и полоску морскую,
Откуда однажды пришла Афродита.

1979



Ленинград. Выступление на заводе «Союз». 1972 г.



САМАРКАНД

В Самарканде стоит жара.
Пыль — мукой запекает рот,
И узорная панджара
Утешения не дает.

Неподвижно шумит арык,
Протекающий подо мной.
Неподвижно сидит старик
С бородой, обожженной хной.

Неподвижно витает дым.
Сладко пахнет огнем чурек.
Золотистые горы дынь
Неподвижны из века в век.

Пробивает скалу арча.
Исчезает в земле вода.
Как незыблем и величав
Город мертвых Шах-и-Зинда!

Неподвижен он и высок
Потому что велик Аллах,
Потому что шуршит песок,
Убывая в моих часах.

И к каким бы долинам, мчась,
Ни манили меня ветра,
Буду помнить я: в этот час
В Самарканде стоит жара

И над струйками рыжих вод,
Над растопленными шоссе
Синевой горит небосвод,
Как огромное медресе.

1980





БУХАРА

Неужели вчера
Ты была наяву?
Подари, Бухара,
Мне свою синеву,

Опаленные зноем
Седые кусты
И дыхание злое
Окрестных пустынь.

Подари мне базар,
Полный летних даров,
Где слезятся глаза
От цветов и ковров,

Где начищена с толком
Пахучая медь,
И гремит все, что только
Умеет греметь.

Подари мне настил
Над водой арыка,
Где тогда нас настиг
Аромат шашлыка,

Где, машины поставив,
Гуляет народ

У заброшенных старых
Разбитых ворот.

Подари мне, прошу,
До конца моих лет
Этот праздничный шум
И пронзительный свет.

Разноцветные главы
И солнечный день,
Низких сводчатых лавок
Отрадную тень.

Подари, Бухара,
Мне свою бирюзу.
В край, где снег и ветра,
Я с собой увезу

Звон огня и металла
И робость мечты,
Чтоб душа моя стала
Прозрачной, как ты.

1980





Примерно с середины шестидесятых в «интеллигентскую» авторскую песню бурно ворвался хриплый и громкий голос Владимира Высоцкого.

На первых порах нарочито надрывная манера его исполнения, «блатная» тематика ранних песен, полуцыганская аффектация и примитивные мелодии создавали впечатление чего-то вторичного, узнаваемого. Но стихи...

Я помню, как поразили меня неожиданно своей удивительной поэтической точностью строки одной из его «блатных» песен: «Казалось мне, кругом — сплошная ночь, тем более что так оно и было».

Становление поэта происходило стремительно, как будто он догадывался о своем безвременном уходе. В коротких песенных текстах (а песня длинной быть не может) он с мастерством подлинного художника ухитрялся отобразить целую эпоху: от трагичных и героических лет войны («Час зачатья я помню неточно», «Жил я с матерью и батей на Арбате — век бы так!») до сегодняшних дней («Разговор у телевизора» или «Мишка Шифман»). Каким только гонениям ни подвергался Владимир Высоцкий при жизни! До сих пор помню обличительную статью в газете «Советская Россия», опубликованную в 1967 году, в которой в откровенно бранных выражениях Высоцкий объявлялся антисоветчиком,

проповедником пошлости и мещанства. Гонения на Высоцкого не прекратились и после его смерти. Теперь они приняли форму «литературных» ниспровержений со стороны самой реакционной части «профессиональных» литераторов типа Станислава Куняева...

*А.Городницкий.
Из книги «След в океане».*





ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Погиб поэт. Так умирает Гамлет,
Опробованный ядом и клинком.
Погиб поэт, а мы вот живы, — нам ли
Судить о нем как встарь — обиняком?

Его словами мелкими не троньте, —
Что ваши сплетни суетные все!
Судьба поэта — умирать на фронте,
Вдыхая о нейтральной полосе.

Где нынче вы, его единоверцы,
Любимые и верные друзья?
Погиб поэт, не выдержало сердце, —
Ему и было выдержать нельзя.

Толкуют громко плуты и невежды
Над лопнувшей гитарною струной.
Погиб поэт, и нет уже надежды,
Что это просто слух очередной.

Теперь от популярности дурацкой
Ушел он за иные рубежи:
Тревожным сном он спит в могиле братской,
Где русская поэзия лежит.

Своей былинной не растратив силы,
Умолк певец, набравши в рот воды,

И голос потерявшая Россия
Не замечает собственной беды.

А на дворе — осенние капли,
И наших судеб тлеющая нить.
Но сколько песен все бы мы ни пели,
Его нам одного — не заменить.

1980





НАС ОСТАЛОСЬ МАЛО

Песня

Нас осталось мало,
Нас осталось мало.
Запевай бодрее
Песню, запевала!
Зарево пожара
Светит сквозь туман.
Начала гитара —
Кончит барабан.

Нас осталось мало,
Нас осталось мало.
Вихрем пулеметным
Знамя обметало,
Цепи поредели,
Кончились слова,
Но жива идея,
Музыка жива.

Нас осталось мало,
Нас осталось мало.
Мертвый барабанщик
Валится устало,
Пал трубач с трубою —
Замолчала медь.

Кроме нас с тобою,
Некому запеть.

Нас осталось мало,
Нас осталось мало.
Вспомни, как когда-то
Пели мы, бывало.
Встанем, как и прежде, —
Палец на струну,
В яростной надежде
Выиграть войну!

Нас осталось мало,
Нас осталось ма...

1980





**«ЦЫГАНОЧКА»
ПАЛАЧА ФРОЛОВА**

Песня

*К спектаклю по повести Ю. Давыдова
«На скаковом поле возле бойни»*

На столе моем чай,
Бублики-баранки,
Все для дома, для семьи,
Даже для гулянки —
Есть и сладкое вино,
И коньяк, и водка...
А согласишь на окно —
На окне решетка.

Я приду в знакомый дом,
В доме отобедаю.
Я хозяев за вином
Угощу беседаю.
На дворе уже темно,
Светят звезды четко...
А согласишь на окно —
На окне решетка.

Мало проку от квартир,
И погода злая.
Лучше я пойду в трактир,
Общества желая.
Там поют цыгане в лад,

Бубен и чечетка...
А оглянешься назад —
На окне решетка.

И куда ни прихожу,
Все мне неизвестно —
То ли в клетке я сижу,
То ли мир окрестный?
Кто мне это, например,
Объяснит-расскажет?
Каждый дом на свой манер —
А решетка та же.

1981





ПОНТИЙ ПИЛАТ

Песня

*К спектаклю по повести Ю. Давыдова
«На скаковом поле возле бойни»*

Ах, Понтий Пилат, что там люди кричат?
Ах, Понтий Пилат, что там люди кричат?..
Проку нет в разумном слове
Для толпы, что жаждет крови,
Будь ты кесарь или бог —
Ей не встанешь поперек!

Ах, Понтий Пилат, мой языческий брат,
Ах, Понтий Пилат, мой языческий брат!
Что за странные идеи
В этой дикой Иудее?
Всюду ненависть и яд —
Кто здесь прав, кто виноват?

Ах, Понтий Пилат, ты ведь старый солдат,
Ах, Понтий Пилат, ты бывалый солдат!
Где же прошлые успехи,
Запыленные доспехи,
Крылья около плеча,
Медный голос трубача?

Ах, Понтий Пилат, ты бы миловать рад,
Ах, Понтий Пилат, ты бы миловать рад, —

Но закон темнее леса:
Как узнать, что хочет кесарь?
Даже силою мечей
Не осилить стукачей!

Ах, Понтий Пилат, возвращайся назад,
Ах, Понтий Пилат, возвращайся назад —
В Апулийские долины,
Где цветущие маслины,
И, Юпитером клянусь,
Ты забудешь эту грусть!

Ах, Понтий Пилат, что там люди кричат?
Ах, Понтий Пилат, ты бы миловать рад!
Ах, Понтий Пилат, возвращайся назад...

1981





БУРАННЫЙ ПОЛУСТАНОК

Песня

*К спектаклю по роману Ч. Айтматова
«И дольше века длится день»*

Поезда проходят мимо.
Снег растаял на пороге.
Снег растаял на пороге,
Нарождается луна.
Мы живем вдали от мира,
У обочины дороги,
У обочины дороги —
У стального полотна.

Облака бегут по небу,
Словно белые бараны,
Словно белые бараны, —
От холма и до холма.
На Буранном полустанке
Только белые бураны,
Только белые бураны
Да пустынная зима.

Тлеют древние останки
Посреди степей суровых.
В полдень солнышко забрезжит —
И опять уже темно.
На Буранном полустанке
Мы людей не видим новых,

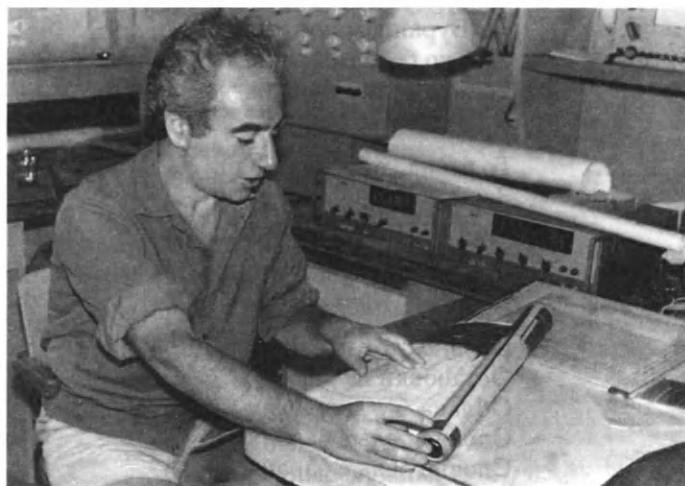
Только заспанный проезжий
Поглядит через окно.

Облака бегут по небу,
Словно белые бараны,
Словно белые бараны, —
От холма и до холма.
На Буранном полустанке
Только белые бураны,
Только белые бураны
Да пустынная зима.

То весна, то снова осень
Зажигают светофоры.
Гуси тянутся на север,
Гуси тянутся на юг.
Жизнь огни свои проносит,
Словно этот поезд скорый,
Словно этот поезд скорый, —
Остановки не дают.
Облака бегут по небу,
Словно белые бараны,
Словно белые бараны, —
От холма и до холма.
На Буранном полустанке
Только белые бураны,
Только белые бураны
Да пустынная зима.

1982





Тихий оксан. На вахте в лаборатории. 1978 г.



ОКРАИНА

Окраина империи любой
Надежнее сверкающей столицы.
Здесь волн неторопливые страницы
Листает утихающий прибой.

Где Вечный город, Фивы и Царьград? —
В развалинах твердыни и догматы,
А здесь все так же зреет виноград,
И кровью наливаются томаты.

Провинция, убежище мое!
Последняя надежда и утеха,
Заполненная морем до краев
Окрестных гор, где заросли ореха.

Невозмутимый полюс тишины.
Здесь поселяне урожаю рады,
И не слышны за шорохом волны
Ни крик толпы, ни грохот канонады.

Легко вдыхать от города вдали,
Не вспоминая, что тому причиной,
Прозрачный воздух варварской земли,
Пропахший дымом, солью и овчиной.

1982



ВОДОЛАЗ

Уходит в воду водолаз.
О чем он думает, когда
Над головой его, кружась,
Соединяется вода?

Среди своих подводных дел,
Где неизвестность — что ни шаг,
О чем он думает, надев
Непроницаемый колпак?

Под ним клубится синева,
Пространства холода и тьмы,
Где обитают существа,
Которых не узнаем мы.

Воды зеленое вино
На глубине сжимает грудь.
Не так уж сложен путь на дно,
Куда трудней обратный путь.

Чтоб солнца праздничную медь
Увидеть в гавани опять,
Он должен в камере сидеть
И сжатым гелием дышать.

Уходит в воду водолаз.
Он думает: когда-нибудь,
Устав от межпланетных трасс,
Освоят люди этот путь.

Забудет внук о царстве выюг,
Гудящих неизвестно где,
И вековой замкнется круг
И разойдется по воде.

1982





В 1983 году меня попросили написать песню для радиоспектакля по любимому мною роману Стивенсона «Черная стрела». Действие там, если помните, происходит в 16 веке в Англии — знаменитая война «Алой и белой розы» за английский престол. Я принес песню на радио. Они ее послушали и говорят: «Значит, так, — для Вашего же блага: Вы нам эту песню не приносили, и мы ее не слышали». «Почему?» — удивился я. «Вы что, сами не понимаете? Тут же прямой намек на Леонида Ильича, который уже в преклонном возрасте и болен. Забирайте Вашу песню и уходите».

Прошло лет пятнадцать. Строй поменялся — демократия и все такое. Снова ставят радиоспектакль по Стивенсону, уже другие совершенно люди на другой студии. «Мы слышали, что у Вас есть песня к спектаклю. Не дадите нам?» — «Могу дать. Только ее уже однажды запрещали как «идеологически невыдержанную». «Ну, что Вы, — сейчас другие времена — свобода слова и все можно. Приносите». Принес. Они ее послушали и говорят: «Вы что, с ума сошли? Что Вы нам принесли? Действительно, Борис Николаевич уже немолод, и со здоровьем проблемы. Но мало того. У Вас в песне еще и прямой намек на чеченскую войну и выборы в Думу». —

«Да ведь это Англия, шестнадцатый век! При чем тут Борис Николаевич?» — «Вы нас, видимо, за дураков принимаете, — обиделись они. — Забирайте Вашу песню и уходите».

*Александр Городницкий.
Из книги «Не пойте без меня».*





ПЕСНЯ КРЕСТЬЯН

*К радиоспектаклю по роману Р. Стивенсона
«Черная стрела»*

Окрестности в пожаре
Пылают за окном.
Король наш старыйй Гарри
Подвинулся умом.
На нивах опаленных
Зерна не соберешь —
Летят отряды конных,
Вытапывая рожь.
К чему страдать — трудиться, —
Все пущено на слом.
Не дай вам бог родиться
При Генрихе Шестом!

Чье над полками знамя?
За что ведется торг?
Кто править будет нами —
Ланкастер или Йорк?
Какого нам вельможи
Ни прочат короля,
Для нас одно и то же —
Неволя и петля.

Милорд наш веселится,
Да мало толку в том.
Не дай вам бог родиться
При Генрихе Шестом!

Повсюду запах гари,
Покинуты дома.
Король наш старый Гарри
Совсем сошел с ума.
Не даст тебе Создатель
Дожить до старых лет, —
Бросай соху, приятель,
Берись за арбалет!
Стрела летит, как птица,
Повсюду лязг и стон...
Не дай вам бог родиться
При Генрихе Шестом!

1983





МОРЯК, СКАЖИ-КА...

Песня

Моряк, скажи-ка мне, куда
Свой путь ты держишь, путник?
Куда ведет тебя звезда,
Летающий мимо спутник?
Кто скажет нам уверенно,
Где радость, а где горе?
Милее море с берега,
Милее берег с моря.

Вдали от гавани грустны
И вахты, и попойки.
Земные будут сниться сны
Тебе на узкой койке.
Ламанш, пролив ли Беринга, —
Повсюду чайки вторят:
Милее море с берега,
Милее берег с моря.

На суше годик поживи —
С ума сойдешь от скуки.
Не испытать тебе любви,
Не испытав разлуки.
От рощ и чахлых сквериков
Назад сбежишь ты вскоре —
Милее море с берега,
Милее берег с моря.

И сколько душу ни травы,
Не вытравишь несчастья:
Враждуют в сердце две любви
И сердце рвут на части.
Не выбрать в жизни пеленга
С самим собою в ссоре:
Милее море с берега,
Милее берег с моря.

Опять ревун кричит во мгле
И видимость плохая.
Ты от земли плывешь к земле,
Скучая и вздыхая.
Кто скажет нам уверенно,
Где радость, а где горе?
Милее море с берега,
Милее берег с моря.

1984





ПЕСНЯ ДЕКАБРИСТОВ

Там, где каторжный труд, там, где лес непочат,
В необъятной заснеженной шири,
Наши песни поют, наши цепи звенят,
Наши избы стоят по Сибири.

Не припомнит никто в этой дикой глуши
Эполеты полков и кокарды, —
Как мы молоды были и как хороши,
Лейб-гусары и кавалергарды!

В жаре дымных ветров не ступились в бою
Наши острые шпаги и сабли.
За свободу мы кровь проливали свою,
Мы чужой не пролили — ни капли.

Пусть запомнят потомки на все времена,
Добывая победу в сраженье:
Не всегда для свободы победа нужна,
Ей нужнее порой — поражение.

Потому-то и тут больше века подряд,
В необъятной заснеженной шири,
Наши песни поют, наши цепи звенят,
Наши избы стоят по Сибири.

1984



ТАНЖЕР

Песня

Слышен волн несмолкающий рокот,
Светят звезды на южный манер.
Мы плывем в королевство Марокко,
В замечательный город Танжер.
Там плетутся шпионские сети,
Там красотки поют в кабаках,
И Сахары стремительный ветер
Оседает песком на губах.

Наклонились зеленые лавры
Над прибрежной водой голубой.
Не отсюда ли грозные мавры
На морской уходили разбой?
Мне бы тоже войти с ними в долю,
Мне бы местным молиться богам,
Мне за пояс бы — пару пистолей
И широкий кривой ятаган!

Я не стал бы возиться с тобою,
Не писал бы печальных поэм,
Я бы пленную взял тебя с боя
И в надежный упрятал гарем.
Не сидел бы теперь одиноко,
Наполняя шампанским фужер,
По пути в королевство Марокко,
Где находится город Танжер.

1984



ГОРОД

Семнадцатый век, девятнадцатый век —
Труха, пепелища, осколки.
Трудом и молитвой здесь жил человек,
И трудными будут раскопки.

Не спросишь у серых бесформенных плит
Про их стародавние были.
Здесь дом на развалинах дома стоит,
Могила стоит на могиле.

Был город сожжен и отстроен опять.
Какая печаль, неизвестно,
Сумела людей навсегда приковать
К унылому этому месту.

На что им безвкусная эта еда,
Домов неопрятные соты,
Река, обведенная камнем, куда
Сливаются все нечистоты?

Чем улочка узкая им дорога?
Какие к ней тянутся нити?
За дымом окраин такие луга —
Взгляните, взгляните, взгляните!

Пусть крепок ты телом, но духом ты слаб.
Мечты твои — прихоть пустая.

Умом ты свободен, но сердцем ты раб, —
Удел твой — пшено, а не стая.

На теплые волны спокойных морей
Не сменишь ты, сколько ни сетуй,
Ни дня из истории горькой своей,
Ни камня от улочки этой.

1985





На уральском фестивале в Ильменах близ Челябинска.
За столом жюри. 1982 г.



КОМАРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

На Комаровском кладбище лесном,
Где дальний гром аукается с эхом,
Спят узники июльским легким сном,
Тень облака скользит по барельефам.
Густая ель склоняет ветки вниз
Над молотком меж строчек золоченых.
Спят рядом два геолога ученых —
Наливкины — Димитрий и Борис.
Мне вдруг Нева привидится вдали
За окнами и краны на причале.
Когда-то братья в Горном нам читали
Курс лекций по истории Земли:
«Бесследно литосферная плита
Уходит вниз, хребты и скалы сгрудив.
Все временно — рептилии и люди.
Что раньше них и после? — Пустота» .
Переполюсь этой пустотой,
Минуя веток осторожный шорох,
Остановлюсь я молча над плитой
Владимира Ефимовича Шора.
И вспомню я, над тишиной могил
Услышав звон весеннего трамвая,
Как Шор в аудиторию входил,
Локтем протеза папку прижимая.
Он кафедрой заведовал тогда,
А я был первокурсником. Не в этом,

Однако, дело: в давние года
Он для меня был мэтром и поэтом.
Ему, превозмогая легкий страх,
Сдавал я переводы для зачета.
Мы говорили битый час о чем-то,
Да не о чем-то, помню — о стихах.
Везде, куда ни взглянешь невзначай,
Свидетели былых моих историй.
Вот Клещенко отважный Анатолий, —
Мы в тундре с ним заваривали чай.
Что снится Толе — шмоны в лагерях?
С Ахматовой неспешная беседа?
В недолгой жизни много он изведал, —
Лишь не изведал, что такое страх.
На поединок вызвавший судьбу,
С Камчатки, где искал он воздух чистый,
Метельной ночью, пасмурной и мгlistой,
Сюда он прибыл в цинковом гробу.
Здесь жизнь моя под каждую плитой,
И не случайна эта встреча наша.
Привет тебе, Долинина Наташа, —
Давненько мы не виделись с тобой!
То книгу вспоминаю, то статью,
То мелкие житейские детали —
У города ночного на краю
Когда-то с нею мы стихи читали.
Где прежние ее ученики?
Вошла ли в них ее уроков сила?
Живут ли так, как их она учила,
Неискренней эпохе вопреки?
На этом месте солнечном, лесном,
В ахматовском зеленом пантеоне,
Меж валунов, на каменистом склоне,
Я вспоминаю о себе самом.
Блестит вдали озерная вода.

Своих питомцев окликает стая.
Еще я жив, но «часть меня большая»
Уже перемещается сюда.
И давний вспоминается мне стих
На Комаровском кладбище зеленом:
«Что делать мне? — Уже за Флегетоном
Три четверти читателей моих».

1985





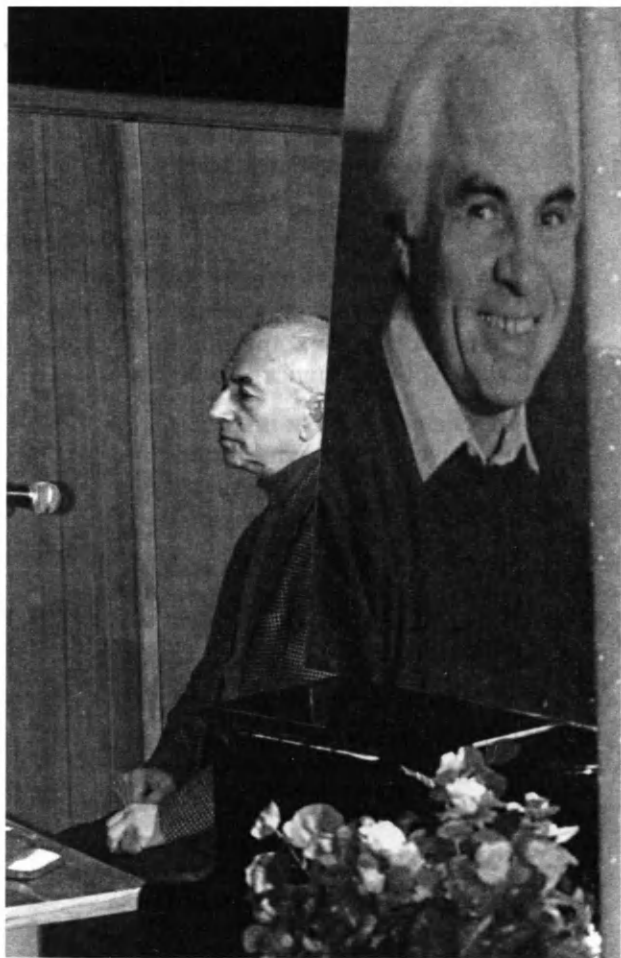
С Н. Эйдельманом. Пицунда. 1987 г.

Хозяйка кладет огурцы в деревянную кадку.
Сигнал пионерский за дальнею рощей затих.

Историк упорен. Он скрытые ищет истоки
Деяний царей и народных смятений жестоких.
Мы позднею ночью сидим за бутылкой вина.
Над домом и садом вращается звездная сфера,
И, встав из-за леса, мерцает в тумане Венера,
Как орденский знак на портрете у Карамзина.

1985





Вечер памяти Е. Клячкина. 1998 г.
Фото Ю. Лукина.



СТИХИ МОИХ ДРУЗЕЙ

В широких шляпах,
в длинных пиджаках,
С тетрадами своих стихотворений...

Н.Заболоцкий

Сохранила память давних дней,
Строки посторонние отсеяв,
Ранние стихи моих друзей, —
Кушнер, Британишский и Агеев.

Как смелы вы были и чисты,
Дерзновенно в будущее глядя!
Что за строки прятали листы
Серых ученических тетрадей!

Комната (а в будущем музей)
Нам тогда казалась маловата.
Ранние стихи моих друзей
Как я им завидовал когда-то!

Собственных творений в том году
Не припомню, видимо, и Бог с ним.
Помню вас, кумиры наших дум,
Кушнер, Британишский и Горбовский.

Накалялся воздух — быть грозе,
Синевой переполнялись души.
Ранние стихи моих друзей, —
Поздние припоминаю хуже.

Календарь отсчитывает срок.
Ноша лет оттягивает плечи.

Где они, творцы любимых строк? —
Этих нет, а прочие далече.

Сумерки становятся светлей.
Близок март. Весна еще в начале.
Ранние стихи моих друзей
Снятся мне короткими ночами.

1985





**ПАМЯТИ
ЮРИЯ ВИЗБОРА**

Песня

Нам с годами ближе
Станут эти песни,
Каждая их строчка
Будет дорога.
Снова чьи-то лыжи
Греются у печки,
На плато полночном
Снежная пурга.

Что же, неужели
Прожит век недлинный?
С этим примириться
Все же не могу.
Как мы песни пели
В доме на Неглинной
И на летнем чистом
Волжском берегу!

Мы болезни лечим,
Мы не верим в бредни,
В суматохе буден
Тянем день за днем.
Но тому не легче,
Кто уйдет последним, —

Ведь заплакать будет
Некому о нем.

Нас не вспомнят в избранном —
Мы писали плохо.
Нет печальней участи
Первых петухов.
Вместе с Юрой Визбором
Кончилась эпоха —
Время нашей юности,
Песен и стихов.

Нам с годами ближе
Станут эти песни,
Каждая их строчка
Будет дорога.
Снова чьи-то лыжи
Греются у печки,
На плато полночном
Снежная пурга.

1985





ЧТО СНИТСЯ НОЧЬЮ ПРОКУРОРУ

Песня

К спектаклю «Следствие»

Что снится ночью прокурору?
Что снится ночью прокурору,
Когда полуночную штору
Качает слабым ветерком?
Не выносить из дома сору,
Не выносить из дома сору,
Не выносить из дома сору
Ему советует горком.

Что видит ночью заседатель?
Что видит ночью заседатель?
Что видит ночью заседатель,
Обняв жены тугой живот?
Ему хоть что под нос подайте,
Ему хоть что под нос подайте,
Ему хоть что под нос подайте —
Он обязательно кивнет.

А председателю приснится,
А председателю приснится, —
Когда сперва ему не спится,
А после он уснет, как все, —

Что он — лишь маленькая спица,
Что он — лишь маленькая спица,
Что он — лишь маленькая спица
В большом казенном колесе.

А осужденному приснится,
А осужденному приснится,
Когда прожектора зарница
На сонный лагерь упадет,
Что сколько срок его ни длится,
Что сколько лет ему ни биться, —
Район ли, область ли, столица —
Нигде он правды не найдет.

А у заборчиков дощатых,
При фонарях и автоматах,
Всю ночь вздыхая о девчатах,
Стоит молоденький наряд.
И никого нет виноватых,
И никого нет виноватых,
И никого нет виноватых —
Лишь невинный виноват.

Что снится ночью прокурору?
Что снится ночью прокурору?
Что снится ночью прокурору,
Когда впадет он в забытье?
Сны про избу да про корову,
Сны про избу да про корову,
Сны про избу да про корову —
Про детство дальнее свое...

1987





СТАРЫЕ ПЕСНИ

Что пели мы в студенчестве своем,
В мальчишеском послевоенном мире?
Тех песен нет давно уже в помине,
И сами мы их тоже не поем.

Мы мыслили масштабами страны,
Не взрослые еще, но и не дети,
Таскали книги в полевом планшете —
Портфели были странны и смешны.

Что пели мы в студенчестве своем,
Когда, собрав нехитрые складчины,
По праздникам, а чаще без причины
К кому-нибудь заваливались в дом?

Питомцы коммуналок городских,
В отцовской щеголяли мы одежде,
И песни пели те, что пелись прежде,
Не ведая потребности в иных.

Мы пели, собираясь в тесный круг,
О сердце, не желающем покоя,
О юноше, погибшем за рекою,
О Сталине, который «лучший друг» .

«Гаудеамус» пели и «жену»,
И иногда, вина хвативши лишку,

Куплеты про штабного писаришку
И грозную прошедшую войну.

Как пелось нам бездумно и легко, —
Не возвратить обратно этих лет нам.
Высоцкий в школу бегал на Каретном,
До Окуджавы было далеко.

Свирепствовали вьюги в феврале,
Эпохи старой истекали сроки,
И темный бог, рябой и невысокий,
Последний месяц доживал в Кремле.

1987





ОФИЦЕРЫ

Мне жаль российских офицеров,
А почему? А потому,
Что не дрожали под прицелом
В пороховом густом дыму.
Гардемаринов и курсантов,
Пошедших по стопам отцов,
Героев брошенных десантов,
Расстрелянных военспецов —

Мне жаль российских офицеров,
Что перед Родиной чисты,
Что были преданы всецело,
И потускневшие кресты
Хранили в дедовской шкатулке
В преддверье будущих атак.
Но не французы и не турки, —
Был посерьезней этот враг.

Мне жаль российских офицеров:
В Донских степях или в Крыму
Могли, но не остались целы, —
Все сгнули по одному.
И красный маршал Тухачевский,
И белый офицер Турбин —
Все головы сложили честно,
Мы обо всех о них скорбим.

Мне жаль российских офицеров,
Шагающих перед полком, —
Взойдет ковыль или люцерна
Над их истлевшим костяком?
Был дух их неизменно стоек,
И не согнули их потом
Ни суд чрезвычайных троек,
Ни танки с ломаным крестом.

Мне жаль российских офицеров.
А почему? А потому,
Что знали собственную цену
И не сдавались никому.
Смешны понятия их чести.
Нет ни покрышки им, ни дна.
Не порознь лежат, а вместе:
Земля одна и честь одна.

1987





БЕССОННИЦА

Облетают леса. Все чаще
Просыпаемся мы ночами:
То суставы больные ноют,
То давление снова пляшет.

И во мраке ночного дома
Неожиданно пробудившись,
Мы лежим и не можем вспомнить,
Кто мы есть и куда попали.

Так, нащупав ночник рукою,
Валидол под язык засунув,
Ощущаем мы вдруг впервые
Разобщенье души и тела.

Это странное раздвоенье
Отмечает тот поздний возраст,
Где случается противоборство
Содержанья и оболочки.

Как птенец, взращенный в неволе
И внезапно затосковавший,
Бьется сердца комочек, больно
Ударяясь в грудную клетку.

Так способен пар перегретый
Разорвать, расширяясь, колбу.

А душа болит и томится,
Понимая свою бескрылость,
И тоска неясная эта
Называется стенокардией.

Потому что в свой час урочный,
Ощувив потребность паренья,
Станет гусеница махаоном,
А для нас невозможно это.

Потому что порой осенней,
Приучая птенцов к полету,
Собираются птицы в стаи,
Старики же все — одиноки.

А душа, как листок от ветки,
Отрывается вдруг от тела
И взлетает в пустое небо, —
Только долго лететь — не может.

1987





ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ

Бой барабана в переулках слышен.
Людской поток рассержен и бурлив.
Танцует пламя дымное над крышей,
Колпак фригийский набок заломив.

Беги на приступ, рваная пехота,
Июльскую приветствуя зарю,
Тараном бей в дубовые ворота.
Тащи аристократа к фонарю!

Пороховая копоть на одежде.
Над блеском ружей небо цвета «руж» .
Спешి Версаль захватывать, но прежде
Бастилию постылую разрушь!

Круши ее ломами и кирками,
Уничтожай мечты ее творцов.
Унылый погребальный этот камень
Негоден для театров и дворцов.

И если восстановят вновь темницу
Из старых глыб разрушенной стены,
Уже им снова не соединиться,
Как были прежде соединены!

1987

* * *

Не удастся, хоть умри,
В чужие сани водворяться.
Мы опоздали для дворянства
И не годимся в блатары.

Такие разные на вид,
Они единой нитью сшиты:
В одних — неколебимый быт,
В других — ниспроверженье быта.

Иконы вешаем в углу,
Поем лихие песни бодро,
А нитка тонкая — свобода —
Никак не вденется в иглу.

Течет сквозь пальцы, как вода,
Души бесплотная начинка.
Сегодняшнее разночинство, —
Куда деваться нам, куда?

1987





ОПАСАЙСЯ ДАНАЙЦЕВ

Песня

Опасайся данайцев, дары приносящих,
У ворот с караваном смиренно стоящих:
Сто коней и ослов сундуки эти тащат,
И несметно богаты на вид они, но —
Молью трачены эти шелка и вельветы,
И фальшивые в перстнях горят самоцветы,
Подведет тебя в схватке оружие это,
И отравлено в этих сосудах вино.

Ты ни их, ни себя понапрасну не мучай,
Не пиши их начальникам оды на случай.
Плохо дело твое, если ты не научен
Пораженья свои отличать от побед.
Не нужны и задаром твои миражи им, —
Ты об этом без робости прямо скажи им.
Если ценности дарят, то дарят чужие, —
Ничего своего у них ценного нет.

Опасайся данайцев, дары приносящих,
Разговоров любезных, что сахара слаще,
Не проси к себе в дом заходить их почаше
И за скромный свой стол не зови на обед.
Не спеши объявлять с ними общие цели, —
Постарайся проверить, на самом ли деле
Так они неожиданно дружно прозрели.
А кто раньше прозрел, тех простыл уже след.

Опасайся данайцев, дары приносящих
По подсказке товарищей вышестоящих,
Не бери перевязанный лентами ящик,
Не разменивай душу свою на пятак.
Не спеши на себя примерять их наряды,
Не нужны тебе их золотые награды.
Если хвалят тебя и тебе они рады, —
Значит, что-то и где-то ты сделал не так.

1987





НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ, ГОРЬКИЙ, С КАПРИ

Песня

Не возвращайся, Горький, с Капри,
Где виноградная лоза.
Бежит в усы за каплей капля
Твоя горячая слеза...

Поймешь страну родную мало,
Ее увидев изнутри.
На трассе Беломорканала
Напрасных слов не говори.

Не возвращайся, Горький, с Капри,
Пей итальянское вино.
Расстрел несправедный, этап ли, —
Тебе там это все равно.

Не упускай свою удачу,
Попав однажды за рубеж,
Не приглашай вождя на дачу,
Его пирожные не ешь.

Не рвать в лесу тебе малину,
А из окна глядеть в тоске
И смерти ждать неумолимой
В своем пустом особняке.

Ты станешь маркой на конверте
В краю заснеженной хвои,
Где мучит брата брат до смерти,
Слова цитируя твои.

Не возвращайся, Горький, с Капри, —
Возьми платок, протри глаза!
Бежит в усы за каплей капля
Твоя горячая слеза...

1987





ГИПЕРТОНИЯ

Принять таблетку и уснуть,
Одoleвая понемногу
Ежевечернюю тревогу,
Не покидающую грудь.

Твой путь расчерчен, как чертеж, —
Ищи спасенья в валидоле;
Мать умерла от этой боли,
И ты от этого умрешь.

Не подышал ты в лагерях,
Не пострадал за убежденья, —
Выходит, странный этот страх
Ты унаследовал с рожденья,

Перед звонком внезапным в дверь,
Перед ночью телеграммой.
Сжимает сердце он упрямо,
А ты не верь ему, не верь.

Он закодирован в крови
Еще со дней царя Ивана,
А ты таблеткой адельфана
Его попробуй задави.

1987



ШИНЕЛЬ

На выставке российского мундира,
Среди гусарских ментиков, кирас,
Мундиров конной гвардии, уланских,
И егерских, и сюртуков Сената,
Утяжеленных золотым шитьем,
Среди накидок, киверов и касок,
Нагрудных знаков и других отличий
Полков и департаментов, и ведомств
Я заметил странную шинель,
Которую уже однажды видел.
Тот шкаф стеклянный, где она висела,
Стоял почти у выхода, в торце,
У самой дальней стенки галереи.
Не вдоль нее, как все другие стенды,
А поперек. История России,
Которая кончалась этим стендом,
Неумолимо двигалась к нему.
И, подойдя, увидел я вблизи
Огромную двубортную шинель
Начальника Охранных отделений,
Как поясняя надпись на табличке,
И год под нею — девятьсот десятый.
Была шинель внушительная та
Голубовато-серого оттенка,
С двумя рядами пуговиц блестящих,
Увенчанных орлами золотыми,
Немного расходящимися кверху,

И окаймлялась нежным алым цветом
На отворотах и на обшлагах.
А на плечах, из-под мерлушки серой
Спускаясь вниз к раскрыльям рукавов,
Над ней погоны плоские блестели,
Как два полуопущенных крыла.
И тут я неожиданно узнал
Шинель доисторическую эту:
Ее я видел много раз в кино
И на журнальных ярких фотоснимках
Мальчишеских послевоенных лет,
Где мудрый Вождь свой любящий народ
Приветствует с вершины мавзолея.
И вспомнил я, как кто-то говорил,
Что сам Генералиссимус тогда
Чертил эскиз своей роскошной формы —
Мундира, и шинели, и фуражки.
Возможно, подсознательно ему
Пришел на память облик той шинели
Начальника Охранных отделений,
Который показался полубогом,
Наглядно воплотившим символ власти,
Голодному тому семинаристу,
Мечтателю с нечистыми руками,
Тому осведомителю, который
Изобличен был в мелком воровстве.
Теперь, когда о нем я вспоминаю,
Мне видятся не черный френч и трубка
Тридцатых достопамятных годов —
Воспетая поэтами одежда
Сурового партийного аскета,
Не мягкие кавказские сапожки,
А эти вот, надетые под старость,
Мерцающие тусклые погоны
И серая мышинная шинель.

~

* * *

Из всех поэтов Кушнера люблю,
Он более других мне интересен,
Хотя гитарных не выносит песен,
Которые поём мы во хмелю.

Мне нравится традиционный строй
Его стихов, гармония неброских
Полутонов, которые порой
Милее мне, чем гениальный Бродский.

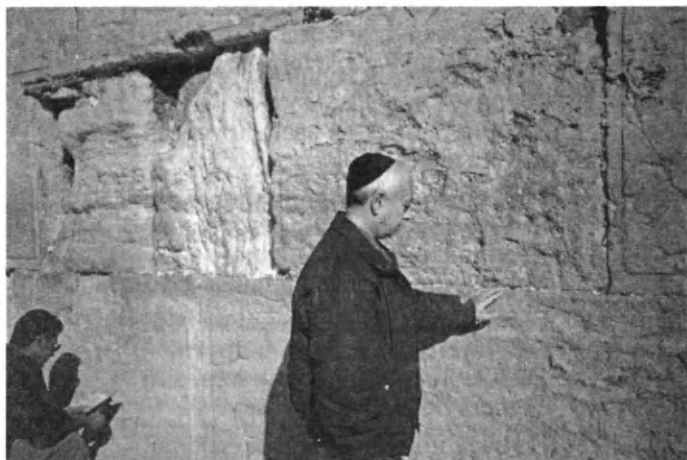
Быть может, переехавший в Москву,
Я оттого люблю их, что другие
Во мне не вызывают ностальгии,
Туманную и вязкую тоску.

Из всех поэтов Кушнера люблю,
За старенький звонок у старой двери,
За то, что с детства он остался верен
Плывущему над шпилем кораблю.

За то, что не меняет он друзей,
Что и живет он там как раз, где надо, —
На берегу Таврического сада,
Близ дома, где Суворовский музей.

И я опять стремлюсь, как пилигрим,
Туда, где он колдует над тетрадкой,
И кажется не горькою, а сладкой
Вся жизнь моя, написанная им.

1988



Иерусалим. У стены плача. 1995 г.



ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ
(Питер Брейгель)

Избиение младенцев в Вифлееме.
В синих сумерках мерцает свет из окон.
Где оливковые рощи? Снег и темень
В этой местности, от Библии далекой.

Избиение младенцев в Вифлееме.
Но заметить я, по-видимому, должен:
От влияния позднейших наслоений
Неспособен был избавиться художник.

Перепутав географию и даты,
Аркебузы ухватив, как автоматы,
Скачут грузные испанские солдаты,
Шуба жаркая напялена на латы.

И стою у полотна, не зная — где я?
Вифлеем ли это, право, в самом деле?
Снег кружится в этой странной Иудее,
И окрестные свирепствуют метели.

Прячут головы несмелые мужчины,
Плачет женщина пронзительно и тонко, —
Двое стражников, одетых в меховщину,
Вырывают у нее из рук ребенка.

Вьюга темная младенцев пеленает.
Снег дымится, от горячей крови тая...
То не ты ли, Белоруссия родная?
То не ты ли, Украина золотая?

1988



ВОЙНА

Признаться в том давно уже пора,
Что медленнее прочих наши реки.
Для нас война закончилась вчера,
Для европейцев — словно в прошлом веке.

Нам позабыть о ней не суждено,
Как будто в жизни нет иных забот нам, —
Со всех сторон нас обложили плотно
Газеты, телевиденье, кино.

Для нас одних почти уже полвека
Все тянутся разор и нищета,
Все за спиной ее маячит вежа, —
Кому за это предъявлять счета?

Былые раны вылечив вполне,
Клокочет мир новорожденной силой.
Лишь мы твердим с покорностью унылой:
«Война, войны, войною, о войне».

И кто тому действительно виной,
Что, выиграв кровавые сраженья,
Мы в мирной жизни терпим поражение,
Их объясняя давнею войной?

1988

* * *

Никогда не вел дневников.
Видно, век мой был не таков.
Почитая донос за благо,
Обличениями грозя,
Приучал он нас, что с бумагой
Откровенными быть нельзя.
А меня он в лойяльных числил,
И, подкуплен его добром,
Я своих опасался мыслей,
Зафиксированных пером.
Я друзьям и подругам писем
Не любил писать никогда, —
После все мы от них зависим,
Попади они не туда.
Никогда не вел дневников, —
Был понятлив я и толков.
Осознав остроту момента,
Воспитателей возлюбя,
Как опального диссидента,
Я давил самого себя.
И нельзя уже возвратиться
В стародавние те края,
Где тетрадной пустой страницей
Перевернута жизнь моя.

1988



* * *

Как случилось, что я — это я?
Не в варяги попал и не в греки?
Что достался мне в нынешнем веке
Лотерейный билет бытия?

Что я этот разучивал гимн,
И болезнями этими болен,
Что судьбою своею не волен
Поменяться я с кем-то другим?

Как случилось, что я — это я?
Ни Христу не молюсь, ни Аллаху,
И ношу я цветную рубаху,
А не плащ золотого шитья?

Неуклонно движение вниз.
Сны цветные ночами не снятся.
Я снижаюсь, как парашютист,
Что обратно не может подняться.

Мой недолгий сегодняшний срок
Не продлят валидол или грелка.
Годовая вращается стрелка,
И бесшумный струится песок.

Что же все-таки будет потом?
Мне не верится, честное слово,
Что бесследно исчезну, и снова
Не возникну в обличьи другом.

Скоро стропы обрежут ножом,
И закончится век мой короткий.
И, в последний свой рейс снаряжен,
В деревянной безвесельной лодке

К берегам неизвестных морей
Поплыву я сквозь низкие двери,
До последней минуты не веря
Однократности жизни моей.

1988





* * *

Мы не оставим в будущих мирах
Ни чертежей, ни строчек вдохновенных.
Укоренились с детства в наших генах
Законопослушание и страх.

Копируя с портретов каждый штрих,
Не сердцем понимали мы, а кожей,
Что надо на соседей быть похожим,
Ничем не отличаться от других.

Старательным в работе и бою,
Нам сердце страх сжимал ладонью липкой:
Не выделяйся в сумрачном строю
Ни ватником, ни шагом, ни улыбкой!

Не преступай положенных границ
В тот утренний, угрозы полный час тот,
Когда сверлит щетину серых лиц
Похмельный взгляд угрюмого начальства.

Нам нравился казенный этот кров,
И были мы всегда, стараясь выжить,
Трудолюбивей черных муравьев,
А если надо — агрессивней рыжих.

Люблю, когда динамики орут
Над громыханьем грозного металла!

В краю, где хлеба вечно не хватало,
Хватало грамот за отличный труд.

Случайно отыскавшие наш прах,
Потомки обнаружат и потом в нас
Все то же — трудолюбие и скромность,
А также — трудолюбие и страх.

И, ощущая близкий свой уход,
Тебя предупредить спешу я, Боже:
Мы прокляты, и семя наше тоже, —
Пусть пашня от посева отдохнет.

1989





АЛИЯ

Песня

Алия моя, алия,
Час решительный настает.
Круто вьется тропа твоя,
Начиная второй исход.
Позабудь о своей судьбе,
Откажись от былых затей, —
Время думать не о себе,
Время — просто спасать детей.

От московских скупых щедрот
Не надейся свой скарб спасти:
Все отнимет «Аэрофлот»
Или Венгрия по пути.
Только то, что возьмешь в пальто,
Только то, что снесешь в руках...
Но сегодняшний страх зато
Будет в жизни последний страх.

Не оглядывайся назад
Над заоблачной пеленой
Вниз, где тускло горит, как ад,
Шереметьевский порт ночной.
Обречен этот черный град.
Не дождется дружка Ассоль.
Не оглядывайся назад,
А не то превратишься в соль.

Непонятна чужая речь.
Будет плакать ночами сын.
Будет горло и душу жечь
Беспощадный сухой хамсин.
О покинутом не стенай, —
Будут счастливы все олим, —
Восхождение на Синай —
Восхождение на Олимп.

Алия моя, алия...
До рассвета тужу о том,
Неужели смогу и я
Отправляться твоим путем?
Дым пожара со всех сторон,
Ветер воли свистит в ушах,
И коварно мне шепчет он,
Что, мол, труден лишь первый шаг.

1991





ЛАГЕРНЫЕ ПОЭТЫ

Вас позабыть могу ли,
Дети земли болотной, —
Здравствующий Жигулин,
Умерший Заболоцкий,

Клещенко и Шаламов,
Выжившие в аду?
Да не примут срама
Вынесшие беду!

Там, где рычат собаки,
Следуя по пятам,
Где не дождался пайки
Мерзнувший Мандельштам.

Их запирали в карцер —
Высохни и умри,
Ставили их на карту
Пьяные блатари.

Не дотянул до завтра,
Не пережил свой страх
Нам неизвестный автор,
Певший о сухарях.

В вечность ушел без даты,
В памяти общей стерт,

Тот, кто воспел когда-то
Ванинский гиблый порт.

Кто нам об этих войнах
Может поведать быль?
Из-под сапог конвойных
Снежная вьется пыль.


Мучает свежей раной
Нынешние срока
Ставшая безымянной
Горестная строка.

1989





С Валентином Никулиным. Иерусалим. 1995 г.



...Поэт Иосиф Бродский заметил как-то, что не язык — орудие поэта, а скорее наоборот: поэт — орудие языка. Если слова эти можно отнести к истории, то именно таким историком был Натан Эйдельман. Мне довелось жить с ним вместе несколько лет и видеть его каждодневную изнурительную работу, которая его самого, казалось бы, совершенно не отягощала. Он не просто собирал и изучал документы: он буквально жил в материале, как бы перемещаясь в исследуемую эпоху и среду и вступая в прямой контакт с ее героями. Удивительное перевоплощение это напоминало вхождение актера в роль, но там вхождение внешнее, подражательное, а здесь глубокое и внутреннее, в качестве собеседника или «содельника», если речь шла о Михаэле Лунине и других декабристах.

Прекрасное владение материалом, блестящая память и могучий ассоциативный ум дали возможность историку и философу Натану Эйдельману в его лучших работах выстроить стройный эволюционный ряд развития российской государственности, российского свободомыслия и российской интеллигенции в восемнадцатом — девятнадцатом веках. Писал он и диктовал на машинку, кажется, постоянно, и творческая энергия его казалась бесконечной. Даже вечером, после целого дня (а день его начинался рано поутру) каторжной работы, он ощущал потреб-

ность что-нибудь рассказывать и радовался по-детски любой застольной аудитории.

А рассказывать он мог практически бесконечно. Одной из основ нашей с ним близкой дружбы, возможно, была моя постоянная готовность слушать его всегда и на любую тему. Несмотря на возможность каждодневного общения с Тоником, я старался не пропустить его публичных лекций и выступлений и ничуть не жалел об этом, ибо каждое из них отличалось от другого тем, что Тоник говорил, хотя все это, казалось бы, было написано в его книгах. Но он, как знаменитый пушкинский импровизатор в «Египетских ночах», явно увлекаясь темой рассказа и своими комментариями и «заходясь» от полученных вопросов, впадал в состояние истинного артистического вдохновения, лицо его покрывалось румянцем, глаза блестели, а голос, как мне казалось, приобретал рокошущие громовые оттенки. Когда я сейчас думаю об этом, то невольно вспоминаю, что в его многочисленных устных выступлениях он говорил много такого, о чем не мог бы написать даже в самых популярных своих изданиях. Начав разговор, он порой сам не знал, куда уведут его собственная могучая эрудиция, стремительность и ассоциативность мышления в устных комментариях.

Любовь к прямому общению с аудиторией многое объясняла в его артистически щедром характере.

С грустной радостью слушаю я теперь случайно сохранившиеся магнитофонные записи некоторых его выступлений.

Мне вспоминается ясный и холодный декабрьский день в Ленинграде несколько лет назад, где я, оказавшись в командировке одновременно с приехавшим туда Тоником и его женой Юлей, попал, за его широкой спиной, в спецхран Публичной библиотеки, священное место, куда простому смертному

попасть не просто. Трудно перечислить те уникальные книги, манускрипты и документы, на которые нельзя было смотреть без сердечного трепета — от древних рукописей Корана и Псалтыря до автографов Пушкина и Кюхельбекера. Удивительно, как меняется представление о человеке, когда видишь его автограф. Так, например, Кюхельбекер представлялся мне, по Тынянову, сентиментальным, порывистым и нескладным, а здесь я увидел по-немецки аккуратный каллиграфический почерк его писем и рукописей. А строгий, казалось бы, склонный к порядку благополучный Державин писал, как оказалось, рваным беспокойным почерком человека, лишённого душевного покоя.

Меня поразила более всего выставленная под стеклом грифельная доска с записанными его дрожавшей рукой предсмертными стихами:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей,
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не минет судьбы.

Какая пронзительная и пронизательная безнадежность на краю смерти! Какая противоположность его же величавому и самоуверенному «Памятнику»!

...Мне неоднократно приходилось выступать вместе с Эйдельманом, и каждый раз это было серьезным испытанием, потому что после него на сцене уже нечего было делать: весь зал и все участники выступления знали, что самое интересное уже прошло. Я помню, как в начале июня, в дни очередного пушкинского юбилея, мы ездили вместе с не-

большой группой писателей выступить в Сухуми. Встреча с аудиторией должна была состояться в городском театре. Всем было выделено для выступления по пять минут, и только Эйдельману как основному лектору предоставили полчаса. Когда перед выступлением он сидел и готовился за сценой, к нему подошел писатель и литературовед Зиновий Паперный, известный своими шутками, и сказал: «Знаешь, Тоник, когда ты будешь им рассказывать про Пушкина, не говори, что его убили, — это омрачит вечер».

На юбилейном вечере Булата Окуджавы даже популярнейший Михаил Жванецкий все просил ведущего, чтобы его выпустили выступить перед Эйдельманом, а выйдя все же сразу после него, сказал: «После Эйдельмана выступить трудно. Ведь он сам гораздо более популярен, чем те люди, о которых он пишет».

*А. Городницкий.
Из книги «След в океане».*





ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

Памяти Натана Эйдельмана

Скончался Натан Эйдельман,
Последний российский историк.
Пустует промятый диван,
Завален бумагами столик.
В квартире, где мертвая тишь,
Раскатистый голос не слышен.
Вчерашние скрыты афиши
Полотнами новых афиш.

Скончался Натан Эйдельман,
Последний российский историк.
Его сочинений тома
Отныне немалого стоят.
При жизни он не был богат,
Теперь же — богат он несметно, —
Истории ангельский сад
Ему остается посмертно.
Для веком любимых детей
Господняя явлена милость:
Эпоха их жизней сменялась
Эпохой великих смертей.

Скончался Натан Эйдельман,
Последний российский историк.
В густеющий глядя туман,
В своих убеждениях стоек,
Твердил он опять и опять,

Борясь со скептическим мнением,
Что можно Россию поднять
Реформами и просвещением.
Свой мерный замедлили бег
Над черною траурной датой
Его девятнадцатый век,
Его беспокойный двадцатый.
От бремени горестных пут
Теперь он на волю отпущен.
Его для беседы зовут
Рылеев и Пестель, и Пущин.
И снова метель в декабре —
Предмет изысканий ученых.
Пополнив отряд обреченных,
Безмолвное стынет каре.

Скончался Натан Эйдельман,
Последний российский историк,
И весь черносотенный стан
Гуляет у праздничных стоек.
За что их звериная злость
И ненависть эта? За то ли,
Что сердце его порвалось,
Всеобщей не выдержав боли?
Что, славу презрев и почет,
России служба безвозмездно,
Он, им вопреки, предпочел
Единственный способ отъезда?

Скончался Натан Эйдельман.
Случайно ли это? — Едва ли:
Оборван истории план,
Стремящийся вверх по спирали.
Захлопнулась времени дверь,
В полете застыла минута, —

Безвременье, голод и смута
Страну ожидают теперь.
И нам завещает он впредь
Познание тайны несложной,
Что жить здесь, увы, невозможно,
Но можно лишь здесь умереть.

1989





Москва. 1994 г. В лаборатории.

ТАНАИС

Песня

Геннадию Жукову

В устье Дона стоит Танаис —
Древних греков восточный форпост.
Увенчало коринфский карниз
Голубое соцветие звезд.
Здесь кипела морская волна
У дворцовых высоких оград,
А теперь здесь стоит тишина,
Только змеи в бурьяне шуршат.

В устье Дона стоит Танаис,
В нем веселые люди живут:
Живописец, поэт и артист
Получили прибежище тут.
Дышат тайнами давних веков,
Из цветов себе вяжут венок,
Приютил их под греческий кров
Археолог Валерий Чеснок.

Разрушениям злым вопреки
Позабывтым богам на алтарь
Собирают они черепки,
Реставрируют башни, как встарь.
Всех философов древних бедней,
Беспечально живут они так

Между белых античных камней,
Между кошек, детей и собак.

Значит, все же не вечна беда,
И, с землею сровняв города,
Уничтожив людей и дома,
Беспощадная схлынет орда.
Пусть недолог твой век и жесток, —
Отвлекись от него, отвлекись:
Вновь зеленый пробьется росток,
И художник возьмется за кисть.

И на склоне ненастного дня,
В час, когда подступает беда,
Неожиданно тянет меня
Ненадолго вернуться сюда,
Где в степи раскаленной донской
Под просторным шатром синевы
Смотрит скифская баба с тоской
На зеленое море травы.

1989





А. Городницкий, Д. Самойлов, А. Юдахин, Ю. Ким.
Пяну. 1980 г.



ПАМЯТИ ДАВИДА САМОЙЛОВА

Его везли от собственных столиц...

Давид Самойлов

Его везли от собственных столиц,
Где был он лишь ненадолго — проститься,
И вслед ему веселой вереницей
Тянулись стаи прилетевших птиц.

Его везли от площади Борьбы
(«С самим собой», — так он шутил когда-то),
Где лет минувших памятные даты
Как верстовые видятся столбы.

От подмосковных домиков и круч,
Заснеженных опушек невозвратных,
Где высветил его армейский ватник
Неугасимый моцартовский луч.

Его везли от собственных столиц.
Так увозили некогда другого,
И были так же сдержанно суровы
Измученные лица у возниц.

Шумела у обочины вода.
Зажегся день, недолгий, словно спичка.
Быть вне столиц — вернейшая привычка,
При жизни и по смерти — навсегда.

Среди несчастий тяготиться счастьем,
Не слышать шума и дышать в дыму,

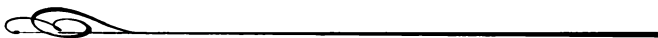
Быть ко всему, как Пушкин, непричастным
И все-таки причастным ко всему.

Не все ль равно лежать в земле какой,
Опалихе, Москве или Пернове,
Когда возможно воплотиться в слове,
Которое витает над Землей?

И, устремясь к ему лишь видной цели,
Живущим дав несбыточный пример,
В конце строки вдруг умереть на сцене,
Как Сирано, как Гамлет, как Мольер.

1990





НЕ ЗОВИТЕ РУСЬ К ТОПОРУ

Песня

Те, кто тянет ладонь к перу, —
Не зовите Русь к топору:
Только в руки возьмешь топор,
Он поскачет во весь опор.

Злой воды, где шуршит шуга,
Не зови на свои луга:
Утопив твоего врага,
Не вернется река в берега.

Не зовите Русь к топору:
Пламя вскинется на ветру,
Запыляет отцовский дом —
Не погасишь его потом.

Не припомнят былых обид —
Кто убил и кто был убит,
Будет помнить хмельной инвалид
Довоенный уютный быт.

Не зовите Русь к топору.
Этот путь не ведет к добру.
Не от этого ль топора
Помирать вам придет пора?

1990



**Концерт на паруснике «Круженштерн», вернувшемся
из кругосветного плавания.
Слева М. Кане.**



«В ПОЛЕТ СВОЙ ДАЛЬНИЙ...»

Не было почти ни одной статьи или заметки о творчестве Александра Городницкого, где бы не говорилось, подробно или мимоходом, что он к тому же ученый, морской геолог, доктор наук, заведующий лабораторией: вот, дескать, у человека столь серьезная профессия, а он успевает сочинять и песни, и стихи, да еще какие!

Между тем читатели, почитатели давно поняли, что их поэт не дважды, а трижды профессионал. Он еще и тонкий, глубокий историк.

Когда-то о Николае Карамзине говорили, что, прославившись «Письмами русского путешественника», он после заменил перемещение в пространстве путешествиями во времени и вместо предполагаемого вояжа в Южную Америку, Восточную Азию отправился в древние века за «Историей государства Российского». Городницкий, наш современник, не прекращает странствий: у него и деревянные северные города, и «голубой океан Индийский», и «остров Хиос, остров Самос, остров Родос».

«Все дорога, дорога, дорога...»

Однако многие и многие земли, океан — не только и не столько география, сколько история: над тундрой «тяжелые крылья поют», оттуда «идет последний караван». Греческие же острова — «человечества цветная колыбель»...

В стихах и песнях Александра Городницкого

легко размещаются сотни, тысячи, случается, и миллионы лет. Сначала — хребты, скалы, древние плиты: «все временно — рептилии и люди. Что прежде них и после? — Пустота». Прошлое начинается с геологии, неторопливой истории планеты. Вслед за тем — античные образы, Испания Сервантеса, но более всего, конечно, родная страна, Московская Русь: тут и юродивый, основатель «преславной плеяды крикунов», и восьмилетнее Соловецкое восстание («Осуждаем вас, монахи, осуждаем»). Затем — XVIII век — Петр Великий, дворец Трезини, Петр III; в XIX столетии — Пушкин, декабристы, народовольцы, стреляющие в царя («Ах, постоянные дворы, аэропорты XIX века»); в начале XX столетия — первый авиатор Уточкин; Петербург, Петроград, «отчизна моя Ленинград, российских провинций столица...»

Приближаются наши дни — и снова Москва, с двумя памятниками Гоголю, Донским и Новодевичьим монастырями, откуда властной волею поэта нас ведут на военные поля под Москвой, под Орлом, на Колымскую трассу, «на материк»...

Из миллионолетних далей мы возвращаемся к исходу 1980-х годов нашей эры; символично, что в родном городе поэта, на Стрелке Васильевского острова рядом расположились два института, не чуждых, близких поэту и ученому Городницкому: Институт геологии Докембрия, где считают на сотни миллионов лет, и Пушкинский дом Академии наук с рукописями Булгакова, Лермонтова, Кантемира, Аввакума...

Но тут-то и открывается, что для Городницкого истории, собственно говоря, как бы и не было: существует некий поэтический циркуль, чья ножка постоянно вонзается в сегодняшнее, в уходящий XX век: круги же свободно витают на каких угодно дис-

танциях «мимо Сциллы и Харибды, мимо Трои, мимо детства моего и твоего». Некоторые историки стесняются, даже сердятся, когда им доказывают, что они тоже люди определенной эпохи и что этот факт обязательно должен отразиться на их взглядах, концепциях; что если бы они жили раньше или позже, то и XI, XVII, XIX века в их статьях и книгах были бы несколько иными. Историки обижаются и стараются отстоять свою объективность, независимость от «слишком современных» субъективных эмоций...

Меж тем — зря обижаются: поэзия, которая субъективна по определению, которая свободно и прихотливо пропускает через поэтическую личность любой век и тысячелетие, она ведь по-своему стремится к той же цели, что и ученые, и не уступит почтенной науке в добывании истины.

Однако, чтобы не засохнуть, не обмануть самих себя, — и ученым, и читателям, думаю, не грех поучиться у поэта: разумеется, не стихотворному мастерству, тут дело не в таланте («историками делаются, поэтами рождаются»). Не грех заразиться смелостью, высокой субъективностью, откровенностью, стремлением к нравственным оценкам, и настоящей радости, и «злой тоске».

Не дело поэта расцвечивать иллюстративными подробностями, как Соловки держались против царя всея Руси. Дело поэта — печалиться, размышляя о кровавом столкновении двух непримиримых правд: у мятежных монахов своя, у государя своя.

Поэт знает, что Петр III ничтожен; что пока он «играет на скрипке, государство уходит из рук», что новые руки, которые приберут это государство, — более сильные и умелые: да, разумеется, это необходимо, неизбежно, но как не пожалеть «одинокого и хлипкого» монарха?

Враги, кровь, борьба — неизбежные спутники любого раздела мировой истории, присутствующие на любой странице учебника; и вдруг — поражающие своей смелостью слова: «И в горло нож вонзает Брут, а под Тезеем берег крут, и хочется довериться врагу».

Нельзя довериться, но хочется: вот — история человечества!..

Поэзия оказывается одним из сильнейших, вернейших способов соединения времен, геологической разведкой, открывающей нравственные сокровища во всех эрах и эпохах.

За этой добычей, над тундрой, океаном, над тысячелетиями поэт снова и снова пускается «в полет свой дальний...»

Натан Эйдельман.

*Из предисловия к книге стихов
А.Городницкого «Перелетные ангелы».*





* * *

Памяти Н. Эйдельмана

Мой друг писал историю Кремля,
Точнее, — обитателей кремлевских.
Его зашили в гробовые доски
И сделали щепоткою угля.

Кирпичных стен кровавое пятно.
Сквозь сито факты тайные просеив,
Нам открывать сегодня их дано
От Калиты не ближе Алексея.

Здесь кажется зловещим скрип дверей,
Здесь все источник губительной заразы, —
Царь-колокол, не знавший звонарей,
Царь-пушка, не стрелявшая ни разу.

В какой необнаруженной пещере,
В какой из стен скрывается тайник
Того неубиенного Кощея,
Что сотни лет здесь правит, многолик?

Здесь ночью раздается крик совы,
А ввечеру, едва начнет смеркаться,
Крадется тень, минуя часовых,
Бесшумною походкою кавказца.

И сохнут, не поднявшись, тополя,
И мостовые ненавистью дышат.
Мой друг писал историю Кремля, —
Теперь ее никто уже не пишет.

1990



Я УБИТ В РОССИИ ПРИ ПОГРОМЕ

Пахнет дымом горизонт багровый,
Милостыню требует калека.
Я убит в России при погроме
На исходе ядерного века.

Бодрые призывы отзвучали,
Прокатилось счастье стороною.
Перестройка, мирная вначале,
Кончилась гражданской войною.

Глаз не видит беспорядка в доме
Сквозь отверткой пробитое веко.
Я убит в России при погроме
На исходе ядерного века.

Бить жидов — старинная потеха, —
Лучшая из дедовских традиций.
Сам виной, поскольку не уехал,
Сам виной, что вздумал здесь родиться.

Надо мною небосвод огромен,
Битый лед качается на реках.
Я убит в России при погроме
На исходе ядерного века.

Там снаружи жизнь шумит иная,
Ударяя лапками по нервам.

Я убит в двадцатом и не знаю,
Что там происходит в двадцать первом.

Кто меня теперь припомнит, кроме
Песенку мурлычащего зека?
Я убит в России при погроме
На исходе ядерного века.

Больше не испытывает муки
Сердце, принужденное не биться.
Мир вам, обагрившим кровью руки,
Мир тебе, земля-детоубийца.

Эту землю, липкую от крови,
Не отнять убийцам светлоглазым:
Я убит в России при погроме
И навеки кровью с нею связан.

1990





ЕВРЕИ

И становится страх постоянным сожителем нашим,
С нами ест он и пьет и листает страницы газет.
Не спешите помочь нам — наш путь неизбежен
и страшен:

Вы спасетесь когда-нибудь — нам же спасения нет.

Меж народов иных пребываем мы все должниками.
Не для нас это солнце и неба зеленая твердь.
Наши деды дышали озоном газовой камер,
И такая же внукам моим уготована смерть.

Не бывать с человечеством в длительной мирной
связи нам:

Нам висеть на крестах и гореть на высоких кострах,
Густо политых кровью и пахнущим едко бензином,
И соседям внушать неприязнь и мистический страх.

Вновь настала пора собирать нам в дорогу пожитки.
Время пряхой суровой сучит напряженную нить.
Истекают часы, и наивны смешные попытки
Избежать этой участи, жребий свой перехитрить.

1991





УРОК ИВРИТА

«Шабат-шолом, тода раба, слиха», —
Твержу слова, не убоясь греха.
В нехитрую их складываю фразу.
Я не в ладах с немецким языком,
С английским лишь поверхностно знаком,
А этот вдруг запоминаю сразу.

Таинственны законы языка.
Сознательная память коротка, —
Ее не уберечь от разрушений.
И только в генах, через сотни лет,
Он снова появляется на свет,
Как фрески из-под поздних наслоений.

Таинственны созвучья языка.
В них шорох уходящего песка,
Пустынных львов свирепая повадка.
Я прохожу по собственным следам,
Где человек читается «адам»,
Эфес еще не меч, а рукоятка.

Безумие мятущихся страстей,
Скитания адамовых детей,
Толпа рабов плетется по Синаю...
Очередной кончается урок,
А мне еще, как прежде, невдомек,
Что не учу слова, а вспоминаю.

1991

~

* * *

Живем на природе и не замечаем природы, —
Ни желтой синицы на ветке, ни времени года.
Сидим поутру за разбавленным чаем,
И не замечаем,
Избрав для себя наперед безболезненный способ
Начать относиться и к ветке, протянутой косо,
И к темно-багряной, под ветром редяющей кроне,
Как к потусторонним.

Ах, листья берез у песчаной промокшей
дорожки,
Вам хватит, наверное, в звонкие хлопать ладошки.
Мой выход окончен последний, не надо
оаций, —

Пора расставаться.
Пологие склоны лесистых окрестностей Рузы,
Где тлеют в озерах усадеб старинные шлюзы,
Я с вами еще, но слабеют усталые нити, —
Уж вы извините.

Ах, я и не ведал, что так незаметно и прочно
Врастаю корнями в подзол этой глинистой почвы.
Откуда берется такая тоска в человеке
При слове «навек»?
Вот в этом и дело, вот в этом-то, видно, и дело,
Что так невозможно от этих лесов поределых,
От хмурых пейзажей, что сердцу по-прежнему
близки,

Уйти по-английски,
Себе отдавая отчет, что, вполне вероятно,
Сюда это все возвратится весной обратно, —
И птица на ветке, и песенка птичья
про счастье...

Простите. Прощайте.

1991





**ПАМЯТИ
ЛЕОНИДА АГЕЕВА**

Снова провожаем мы друг друга,
Словно в институтские года,
В те края, где не стихает вьюга,
Реки несвободны ото льда.

В этот дом старинный на Покровке,
Помнится, в такой же вот мороз
Синий тортик вместо поллитровки
Кушнер по наивности принес.

За начало новых экспедиций
Стопку поминальную налей,
Трудновато будет возвратиться
Из далеких нынешних полей.

В том краю, где не бывает хлеба,
Как и встарь, без вилки и ножа,
Все мы соберемся возле Глеба,
Рюмки невесомые держа.

А пока что молча, без улыбки,
Вспоминаем посреди зимы
Тот квартал болотистый и зыбкий,
Где живали некогда и мы.

Где, гордясь горняцкою фуражкой,
По асфальту шел я, молодой,
И мерцала медленная Пряжка
Черной непрозрачною водой.

1991

В АВТОБУСЕ

Д. Сыркину

Спит солдат по-соседству — ни выправки нету,
ни стати,
Замусолена куртка, прикрыла затылок кипа.
Не увидишь такого, пожалуй, у нас и в стройбате.
Спит усталый солдат, и судьба его дремлет, слепа.

Кто сегодня предскажет, что может назавтра
случиться
С этим мальчиком спящим, что так на бойца не похож?
Может, будущей ночью воткнется ему под ключицу
Мусульманский кривой, для убийства
наточенный нож?

Тонкошей, небритый, с загаром спаленною кожей,
Автоматный ремень в полудетском его кулаке.
Я не знаю иврита, он русского тоже, и все же
Как нетрудно мне с ним говорить на одном языке!

Почему так легко понимать мне его? Потому ли,
Что в тылу он не станет искать безопасных путей?
Что меня не сразит центробежною смертною пулей?
Что саперной лопаткой моих не порубит детей?

Мчит автобус ночной по дороге меж горных селений,
И во сне улыбаясь звезды законной лучу,
Спит солдат на сиденьи, усталые сдвинув колени,
Автомат, словно скрипку, прижав подбородком
к плечу.

1991



* * *

Мне будет сниться странный сон:
Кричащий за окошком кочет,
Самумом поднятый песок,
Что ноздри сфинксовы щекочет.

Разъединение культур,
Их позднее соединенье, —
Всеволод, храбрый багатур,
И князя Игоря плененье.

Египетский позорный плен,
И избавление от рабства.
Среди двенадцати колен
Поди попробуй разобраться!

Мне будет сниться до утра
Земли коричневое лоно,
Арап Великого Петра, —
Фалаш из рода Соломона,

И петербургская пурга
Среди окрестностей дубравных,
Где в ожидании врага
Стоял его курчавый правнук.

Мне будет сниться странный фильм:
Пустыня сумрачного вида
И шестикрылый серафим,
Слетевший со щита Давида.

1992



...Я познакомился с Давидом Самойловым весной 1962 года, придя к нему домой вместе с молодыми московскими поэтами, к которым он благоволил, — Анной Наль и Сергеем Артамоновым. Жил он тогда в старом шестиэтажном московском доме на площади Борьбы («Площадь борьбы с самим собой», как он в шутку ее называл). Его еще почти не печатали, но мы уже, конечно, знали наизусть его знаменитые «Сороковые, роковые...» и «Смерть царя Ивана». В те времена вообще лучшие стихи ходили в рукописях или запоминались на слух, поскольку их, как правило, не публиковали в бдительной хрущевской прессе. Для нас поэтому тогда Давид Самойлов, так же, как Борис Слуцкий, были самыми главными поэтами, почти богами. Еще бы! — боевые фронтовики, прошагавшие пол-Европы, да еще такие легкие, звонкие, по-пушкински прозрачные, дышащие свободой стихи.

Со Слуцким я к этому времени уже был знаком, и его суровая осанка, нарочитая офицерская выправка, строгие усы и начальственный тон, заставлявшие робеть, производили на меня серьезное впечатление. Внешность же Давида Самойлова оказалась полной противоположностью моим заочным представлениям: передо мной стоял маленький, как мне сначала показалось, небрежно одетый лысова-

тый человек с удивительно завораживающими и все время чему-то, даже не относящемуся к разговору, смеющимися глазами, начисто лишенный какой бы то ни было внушительности, подобающей бывалому солдату и классику поэзии, каковым он в действительности и являлся.

Меня удивило и даже поначалу шокировало, что уже хорошо знакомый с ним мой ровесник Сережа Артамонов вместо почтительного обращения к нему «Давид Самойлович» называет его каким-то странным и никак не подходящим детским именем «Дезик». На меня, к моему великому огорчению, Самойлов никакого внимания не обратил, так как почти все оно было тогда поглощено девятнадцатилетней Анной Наль, поражавшей своей яркой внешностью и необычными стихами.

...Говоря о литературном стиле Самойлова, с сожалением приходится заметить, что этот прозрачный пушкинский поэтический стиль, ставший в наше время модернистских новаций уникальным, с его уходом может оказаться вообще утраченным. В своей поэзии Давид Самойлов со всей глубиной показал огромные, еще не использованные богатства классической русской поэзии. Не случайно поэтому он занимался специальным изучением русской рифмы, разработкой теории стиха. Его знаменитая «Книга о русской рифме» — одна из редких книг такого рода, написанная не литературоведом, а поэтом, — остается бесценным вкладом в поэзию и литературоведение. Всю свою жизнь Давид Самойлов как магнит притягивал к себе поэтическую молодежь. У него было много учеников, однако все они пишут иначе. Его моцартовский легкий стиль никто из них перенять не сумел. Может быть, именно об этом думал он еще в молодости, когда написал в стихотворении «Старик Державин» пророческие строчки:

Был старик Державин льстец и скаред,
И в чинах, но разумом велик.
Знал, что лиры запросто не дарят,
Вот какой Державин был старик!

К своим публичным выступлениям, которых было немало, Давид Самойлов почти всегда готовился тщательно, продумывая их композицию до деталей. У него был на редкость обаятельный голос и такая же завораживающая манера читать стихи — очень мягкая и ненавязчивая. В отличие от многих московских поэтов, превращающих чтение стихов в эстрадный номер или выступление на митинге, размахивающих руками и жестикулирующих каким-то особым образом, вскрикивающих вдруг в процессе чтения своих стихов, чтение Дезика начисто было лишено какой бы то ни было внешней аффектации. Стихи его были настолько насыщены и естественны, что совершенно не требовали никаких звуковых или мимических дополнений при чтении. Голос его, казалось бы, негромкий, с удивительной точностью передавал все оттенки и полутона звучащей строки. Послушайте его стереодиски, и вы сами немедленно убедитесь в этом.

... Давным-давно, лет двадцать назад, в Опалихе, Дезик сказал мне как-то: «Алик, не думай, что поэт или писатель — это кто-то что-то написал. Писатель — это прежде всего образ жизни». Давид Самойлов был прирожденным поэтом и писателем. И тогда, когда лежал со своим пулеметом под деревней Лодьва «на земле холодной и болотной», и когда за долгие годы официального непризнания и каторжной литературной поденщины не написал ни одной строчки «для почестей, для славы, для ливреи». И тогда, когда остался чужд соблазнительной возможности стать «властителем дум» с помощью политизированных стихов. Мне выпало редкое счастье разговаривать с

ним и слушать его, и я могу сказать, что он был одним из крупнейших мыслителей нашего времени, подлинным российским интеллигентом, внешняя скромность и мягкость которого сочетались с непоколебимой нравственной позицией. И при всем том он был оптимистом, что особенно редко в наши дни. С уходом этого большого художника его поэзия начала новую жизнь, без него. И жизнь эта будет долгой.

*А. Городницкий.
Из книги «След в океане».*





Ленинград.
На вечере памяти Д. Самойлова с З. Гердтом. 1990 г.
Фото Ю. Богданова



ПОЭТ ПОХОРОНЕН В ЭСТОНИИ

Памяти Д.Самойлова

Поэт похоронен в Эстонии,
В прозрачном и стройном лесу.
Сосна над могилою стонет,
Качая янтарь на весу.

От шторма спеша схорониться,
Гудят из тумана суда.
Теперь он попал за границу, —
Надолго попал, навсегда.

Вокруг подмосковные вьюги,
И Родина вроде близка,
Но вот не услышать в округе
Родного его языка.

И некому слово замолвить,
Его протерев как стекло,
В краю, где и имя «Самойлов»
Латынью на камень легло.

У берега Балтики синей
Не ждет запоздалых наград
От все позабывшей России
Посмертный ее эмигрант.

1992

Зимнее время





Ленинград. 1967 г.

* * *

Сегодня песни не в чести,
Ни городские, ни блатные,
Ни грустные, ни озорные, —
Эпоха юная, прости.

На кухне песен не поют,
И в электричке, и в застолье,
Где собирались мы в застое,
Нехитрый обретя уют.

Гитарным струнам вышел срок,
У времени свои законы,
Лишь кабаки и стадионы
Тяжелый сотрясает рок.

Сегодня люди не поют
Ни в трезвом виде, ни в подпитье.
Умолкли и Москва, и Питер,
Сибирь безмолвствует и юг.

В какую сторону ни глянь,
Ступай направо и налево,
Нигде ни смеха, ни запева, —
Лишь ссоры грубые и брань.

И вьюга воет между пней,
Через леса летя и веси.
Когда в стране не слышно песен,
Мне страшно делается в ней.

1992



ДРУЗЬЯ

Распадается круг друзей:
Кто в забвение, кто в музей,
Кто с венками, а кто с сумой,
Эти летом, а те зимой.
Кто поможет теперь в беде,
Если друг неизвестно где?
Кто сегодня (живой, не тень)
Объяснит мне текущий день?

Распадается круг друзей.
Как на снимки их ни глазей,
Кто уехал, а кто ушел, —
Им, наверное, хорошо.
Проверяют на вкус и цвет
В Шереметьево их билет,
И уже не вернулись чтоб, —
Им в Донском пломбируют гроб.

Распадается тесный круг.
Не удержишь холодных рук.
Тот заведомо, этот вдруг,
Кто на север, а кто на юг.
Где вы, совесть моя и щит?
Телефонный звонок молчит.
Хоть спивайся, хоть волком вой, —
Кто в легенду, а кто домой.

Распадается тесный круг.
Мало проку от их подруг.
Кто шепнет мне из царства вьюг,
Что напрасен ночной испуг?
Мало проку от вещей строк
Без того, кто писать их мог.
Кто мне крикнет из мира звезд:
«Не тяни, выходи на тост!»?

Распадается круг друзей.
Неминуемой быть грозе.
Разошлись по воде круги,
И остались одни враги.
Да и нет уже той зимы,
Где когда-то певали мы.
Да и нет уже той страны,
Где бывали порой пьяны.

Все пошло без них вкривь и вкось,
Надломилась земная ось.
Никогда не поверю, брось,
Что теперь они тоже врозь.
На заоблачном том лугу,
На серебряном берегу,
Все они на исходе дня
Собираются без меня.

1992





* * *

Памяти Л. Зоненшайна

Мерца в переплете окон,
К потомкам через сотни лет
Летит из темноты глубокой
Звезды уже погибшей свет.


А на Земле другие нравы,
Другая нынче благодать,
Хотя вы, вероятно, правы,
Что свет не может опоздать.

Пока пульсирует и мчится
Потусторонний этот свет,
Полет энергии лучистой
Нам говорит, что смерти нет.

Не знает штурман, взяв секстан свой
И глядя вверх из-под руки,
О том, как холодно пространство,
Как расстоянья далеки.

И дав начало новым темам,
Будя ночные города,
Горит над темным Вифлеемом
Уже погасшая звезда.

1992



В 1956 году ценой больших усилий на ротаторе Горного института был на правах рукописи выпущен тиражом триста экземпляров сборник стихов членов ЛИТО, под редакцией Глеба Семенова, ставший теперь предметом зависти коллекционеров. Вместе с нашими стихами туда вошли также стихи студентов ЛПИ более старших поколений — Нины Островской, Бориса Рацера, Льва Куклина, Игоря Тупорылова. Из «литовцев» там — Игорь Трофимов, Лидия Гладкая, Глеб Горбовский, Эдуард Кутырев, Леонид Агеев, Олег Тарутин, Владимир Британишский и я.

Поскольку сборник разошелся моментально, решили сделать второй выпуск, существенно расширив круг авторов. Этот второй выпуск действительно вышел в 1957 году. Ему, однако, не повезло. В это время проходил первый Всемирный фестиваль молодежи, и цензура была особенно бдительна. Сборник попался кому-то на глаза и вызвал бурю. По категорическому указанию партийных властей партком института принял решение весь тираж сборника уничтожить, и он был сожжен в котельной института. Чудом уцелело только несколько экземпляров.

Уничтожение этого сборника, а также ряд доносов в разные инстанции, включая КГБ, привели к тому, что занятия ЛИТО Горного института в 1957 году были прекращены, а Глеб Сергеевич Семенов из него изгнан.

А. Городницкий. Из книги «След в океане».



ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

В. Британишскому

Наш студенческий сборник сожгли в институтском
дворе,
В допотопной котельной, согласно решению парткома.
Стал наш блин стихотворный золы
неоформленным комом
В год венгерских событий, на хмурой осенней заре.

Возле топкого края василеостровской земли,
Где готовились вместе в геологи мы и в поэты,
У гранитных причалов поскрипывали корабли,
И шуршала Нева — неопрятная мутная Лета.

Понимали не сразу мы, кто нам друзья и враги,
Но все явственней слышался птиц прилетающих
гомон,

И редели потемки, и нам говорили: «Не ЛГИ»
Три латунные буквы, приклепанные к погонам.

Ветер Балтики свежей нам рифмы нашептывал, груб.
Нас манили руда и холодный арктический пояс.
Не с того ли и в шифрах учебных студенческих групп
Содержалось тогда это слово щемящее «поиск»?

Воронихинских портиков временный экипаж,
Мы держались друг друга, но каждый не знал
себе равных.

Не учили нас стилю, и стиль был единственный наш:
«Ничего кроме правды, клянусь, — ничего кроме
правды!»

Не забыть, как, сбежав от занятий унылых и жен,
У подножия сфинкса, над невскою черною льдиной,
Пили водку из яблока, вырезанного ножом,
И напиток нехитрый занюхивали сердцевиной.

Что еще я припомню об этой далекой поре,
Где портреты вождей и дотла разоренные церкви?
Наши ранние строки сожгли в институтском дворе
И развеяли пепел — я выше не знаю оценки.

И когда вспоминаю о времени первых потерь,
Где сознание наше себя обретало и крепло,
Не костры экспедиций стучатся мне в сердце теперь,
А прилипчивый запах холодного этого пепла.

1992





ПАМЯТИ ЯКОВА ВИНЬКОВЕЦКОГО

Его я снова вижу четко,
Хотя немало лет прошло, —
Слегка похожий на галчонка,
Задорным видом или челкой,
Напоминающей крыло,
Он затевал неосторожно
Диковинные виражи.
Он говорил, что он художник, —
Ему твердили: «Докажи».
Казались странными предметы
Его рисунков и поэм.
В его теории планеты
Реальной не найти приметы
Среди полуабстрактных схем.
Как было жить ему непросто
В кругу обыденных людей,
В стране неисправимых ГОСТов
И общепринятых идей!
Пусть говорят, что ни при чем тут
Его печальная звезда, —
Он был похожим на галчонка,
Что рано выпал из гнезда.
Никто из нас с ним рядом не был,
Когда при помощи петли
Рванулся он в чужое небо

И оторвался от Земли.
К ее неразрешимым тайнам
Добавил он еще одну,
Полетом ледяным летальным
Одолевая вышину.

1992





ГОРОДА БЕЗ ПРЕДМЕСТИЙ

Ю.Крелину

Города без предместий в Израиле,
Города без предместий,
На Земле этой, Богом израненной,
На поднявшемся тесте,
Где мерцает над спящими душами,
Над Сионской горою
Вифлеемской звезды незатушенной
Голубой астероид.
В темноту упираются улицы,
Где дома окружая,
По ложбинам деревни сутулятся,
Жизнь клубится чужая.
Тост поднять не спешите во здравие
С новоселами вместе, —
Города без предместий в Израиле,
Города без предместий.
Там внизу за могильною лестницей,
Меж густого тумана,
Поселенья арабские лепятся
Под стеной Сулеймана.
С их убогими злыми деревнями,
Вырвав око за око,
Не поделишь холмы эти древние
И могилу пророка.

Все цари, что когда-то здесь правили,
Похоронены вместе.
Города без предместий в Израиле,
Города без предместий.
Этот плач о Содоме и Китеже,
Эти игры без правил!
Кто здесь брат, первородство похитивший?
Кто здесь Каин, кто Авель?
Воскрешать обитатели вправе ли
Голос крови и мести? —
Города без предместий в Израиле,
Города без предместий.

1992





1994 г. Дубна. «Поющий профессор».



* * *

Опять погромы и костры из книг,
Всех убиенных не оплакать скрипкам.
Шерсть оборотня, словно воротник,
Встает над человеческим загривком.

Чего мы ждем, о чем мы говорим,
От гари понемногу задыхаясь?
Очередной недолговечен Рим,
Наступят снова темнота и хаос.

И рвы, позараставшие травой,
Распахивают крылья, словно птицы,
И дымный запах Третьей Мировой
Над утренним Сараевым клубится.

Народы погружаются во мрак,
Не ведая, что этот мрак смертелен,
И шовинизм, как затаенный рак,
Вдруг проступает на усталом теле.

И мы погибнем все до одного,
Браня дурную нашу медицину,
Наивно веря, что и от него
Изобретут когда-нибудь вакцину.

1992





БЕЗБОЖНЫЙ ПЕРЕУЛОК

Над развилком дорожным
Прочту эту надпись со вздохом —
Переулок Безбожный,
Безбожная наша эпоха.

Время строек невиданных,
И разрушений, и гари.
Понаставили идолов,
После их сами свергали.

Снова в моде посты,
И молитвы читаются строго,
Люди ставят кресты
На жилье возвращенного Бога.

И такая в них прыть,
Словно вровень они с небесами, —
Могут вдруг отменить
И обратно вернуть его сами.

И кружатся грачи
Над деревьями парка устало,
Где чернеют в ночи
Обезлюдившие пьедесталы.

Их не вынуть как репку,
Кресты на минувшем поставив.

Их сработали крепко
Из камня, бетона и стали.

Значит, снова наивная
Недолговечна надежда:
Кто воспитан на идолах,
Бога в себе не удержит.

Ведь недаром известно,
Как это в итоге ни грустно,
Что нечистое место
Недолго останется пусто.

1992





**ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ
ШИМОН-ЧЕРКАССКИЙ**

Песня

Кавалер Святого Георгия,
фельдфебель Шимон-Черкасский,
Что лежит на Казанском кладбище
в Царском Селе осеннем,
Представитель моей отверженной
в этой державе касты,
Свой последний бивак наладивший
здесь под дубовой сенью.

Гренадер императорской гвардии,
выходец из кантонистов —
Нелюбимых российских пасынков
выпала с ним судьба нам.
Неродного отечества ради
был он в бою неистов,
Управляясь в часы опасности
с саблей и барабаном.

Давний предок единокровный мой
фельдфебель Шимон-Черкасский,
За отвагу на поле брани
орден свой получивший,
Обладатель ружья огромного
и медной блестящей каски,
В девяносто четвертом раненый,
в девяносто шестом — почивший.

Ах, земля, где всегда не хватало нам
места под облаками,
Но которую любим искренне,
что там ни говорите!
Ощущаю я зависть тайную,
видя надгробный камень,
Где заслуги его записаны
по-русски и на иврите.

И когда о последнем старте я
думаю без опаски ,
И стараюсь представить мысленно
путь недалекий сей свой,
Вспоминается мне лейб-гвардии
фельдфебель Шимон-Черкасский,
Что лежит под опавшими листьями
на окраине царскосельской.

1993





* * *

У старых надгробий
Учусь телеграфному стилю.
С оградами вровень
Кольшутся травы густые.

На мачтах крестовых
Закат напрягается ало.
Пустынно в просторах
Читального этого зала,

Заросших малиной.
Итог подводящая строго,
Не может быть длинной
Строка, обращенная к Богу.

Чем время суровой,
Тем истины ближе простые.
У старых надгробий
Учусь лапидарному стилю.

Сложилась веками
Нехитрая эта основа:
Где короток камень,
Там ценится каждое слово.

Здесь нету личины,
И нет общепринятых правил —

Лишь то, что значимо,
Заносится в вечности файл.

Вся жизнь наша — прочерк.
На зыбкой поверхности света,
Лишь несколько строчек —
Лишь надпись наскальная эта.

1993





* * *

Снова слово старинное «давеча»
Мне на память приходит непрошено.
Говорят: «Возвращение Галича»,
Будто можно вернуться из прошлого.

Эти песни, когда-то запретные, —
Ни анафемы нынче, ни сбыта им,
В те поры политически вредные,
А теперь невозвратно забытые!

Рассчитали неплохо опричники,
Убежденные ленинцы-сталинцы:
Кто оторван от дома привычного,
Навсегда без него и останется.

Слышен звон опустевшего стремени
Над сегодняшним полным изданием.
Кто отторгнут от места и времени,
Тот обратно придет с опозданием.

Над крестами кружение галочье.
Я смотрю в магазине «Мелодия»
На портреты печальные Галича,
На лихие портреты Володины.

Там пылится, не зная вращения,
Их пластинок безмолвная груда...
Никому не дано возвращения,
Никому, никуда, ниоткуда.

1992

* * *

Десанты крылатых семян
Кидают на землю берёзы,
И юности горький обман
В облатке тургеневской прозы

Меня возвращает назад
В похожую дачную местность,
Где каждый цветной палисад
Цветную таит неизвестность.

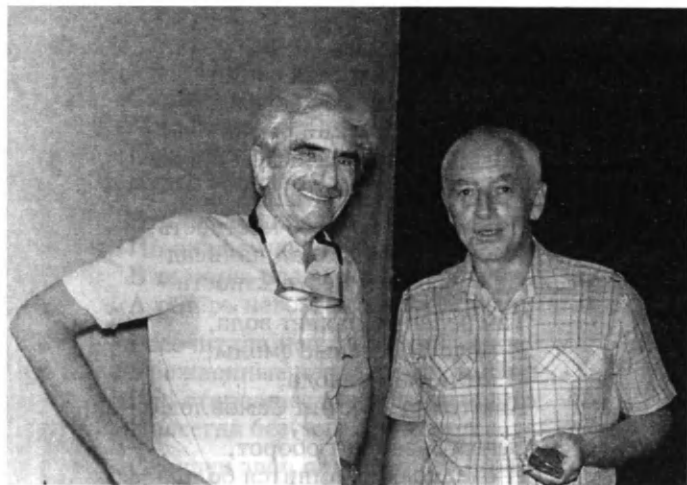
Там зеленью пахнет вода,
И мёдом сосновые смолы,
И мама ещё молода,
Как точно заметил Самойлов.

Земля завершит оборот,
И сладкою вспомнится болью
Девчоночий смех у ворот
И звонкий шлепок волейбольный.

И, первой любовью дыша,
Рванувшись к угасшему свету,
Внезапно занает душа,
Которой, казалось, и нету.

Как мне говорил инвалид,
Чей танк подорвался на mine,
Нога его ночью болит,
Которой уж нет и в помине.

1993



Бсер-Шева, Израиль. Слева Н. Н Трубятчинский.



ПОДПОЛКОВНИК ТРУБЯТЧИНСКИЙ

Песня

Подполковник Трубятчинский, бывший сосед
по каюте,
С кем делили сухарь и крутые встречали шторма,
Не качаться нам впредь в корабельном суровом уюте,
Где скрипят переборки и к небу взлетает корма.
Опрокинем стакан, чтобы сердце зазря не болело.
Не кляните судьбу, обо всем не судите сплеча!
В зазеркалье у вас все читается справа налево —
В иудейской пустыне нашли вы последний причал.

Подполковник Трубятчинский — в прошлом
надежда России —
Он сидит у окна и в глазах его черных — тоска.
Позади океан, ядовитой пропитанный синью,
Впереди океан обожженного солнцем песка.
Подполковник Трубятчинский, что вам мои
утешенья! —

Где бы ни жили мы и какое б ни пили вино,
Мы — один экипаж, все мы жертвы кораблекрушенья,
Наше старое судно ушло невозвратно на дно.

Подполковник Трубятчинский, моря соленого житель,
Как попасть вы смогли в этот город безводный Арад?
Надевайте погоны, цепляйте медали на китель
И — равненье на флаг — наступает последний парад!..

Возвращение в рай, а скорее — изгнание из рая,
Где ночные метели и вышки покинутых зон...
Подтянувши ремень, обживает он остров Израиль —
Наших новых времен, наших новых морей Робинзон.

1993



ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Песня

Переходим на зимнее время
В ожидании новой зимы.
Солнце светит вполсилы, не грея,
Но за лето цепляемся мы.
Дождик руки нам ласково лижет,
Заметает следы листопад.
Чтобы сделать минувшее ближе,
Надо стрелки подвинуть назад.

Рюкзаки собирать нам не нужно,
И коситься с надеждой на дверь,
На свидание или на службу
Торопиться не надо теперь.
Не сулит нам любовной отрады
Одинокая наша кровать.
Ничего нам другого не надо —
То, что есть, бы пока удержать.

Подступает холодная темень,
Через серые щели сочась.
Переходим на зимнее время —
Жизнь свою продлеваем на час.
Осторожно поступим и мудро,
Занавесим плотнее окно —
Пусть помедлит холодное утро,
Не прибавит надежды оно.

1993



ОСТРОВ ИЗРАИЛЬ

Эта трещина тянется мимо вершины Хермона,
Через воды Кинерета, вдоль Иордана-реки,
Где в невидимых недрах расплавы теснятся
и стонут,
Рассекая насквозь неуклюжие материки.

Через Негев безводный, к расселине Красного моря,
Мимо пыльных руин, под которыми спят праотцы,
Через Мертвое море, где дремлют Содом и Гоморра,
Словно в банке стеклянной засоленные огурцы.

Там лиловые скалы цепляются зубчатым краем,
Между древних гробниц проводя ножевую черту.
В Мировой океан отправляется остров Израиль,
Покидая навек Аравийскую микроплиту.

От пустынь азиатских — к туманам желанной
Европы,
От судьбы своей горькой — к неведомой жизни иной
Устремляется он. Бедуинов песчаные тропы
Оборвутся внезапно над темной крутою волной.

Капитан Моисей уведет свой народ, неприкаян,
По поверхности зыбкой, от белых барашков седой.
Через этот пролив не достанет булыжником Каин,
Фараоново войско не справится с этой водой.

Городам беззаботным грозить перестанет осада,
И над пеной прибоя, воюя с окрестною тьмой,
Загорится маяк на скале неприступной Масады,
В океане времен созывая плывущих домой.

1993





КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА

В этих смертью пахнущих аллеях
Не дожить до ста.
Караул ушел от Мавзолея, —
Караул устал.

Лишь дождя натянутые лески
Ходят над стеной, —
То ли бунт кончается стрелецкий,
То ли соляной.

Там, где кленов сумрачное пламя
Тлеет над землей,
Дышит ночь заплечными делами,
Дыбой и петлей.

Дышит ночь предсмертным криком Стеньки.
Кто теперь в цене? —
Те ли, кто поставлен был у стенки,
Те ли, кто в стене?

Здесь знамена двигались, алея,
Громыкала сталь.
Караул ушел от Мавзолея, —
Караул устал.

Но кружит, готовый к обороне,
Застя горизонт,
Черных стай монашеских вороньих
Шумный гарнизон.

Сложенная дьяволу в угоду,
Красная стена,
Здесь всегда безрадостна погода,
Смутны времена.

Где река блестит с зубцами вровень
Синью ножевой,
Вечен цвет кирпичной этой крови,
Темной, неживой.

1994





ЮЛИЮ КРЕЛИНУ

И в январские пурги, и в мае, где, градом беременна,
Налетает гроза с атлантических дальних морей,
Вспоминаю хирурга, прозаика Юлия Крелина,
Что друзей провожает из морга больницы своей.

Не завидую другу, целителю Крелину, Юлику, —
Медицина его неспорна, темна и убога.
В ухищреньях своих он подобен наивному жулику,
Что стремится надуть всемогущего Господа Бога.

Почесав в бороде, раскурив неизменную трубку,
Над наполненной рюмкой что видит он, глядя на нас?
Сине-желтую кожу лежащего в леднике трупа?
Заострившийся нос и лиловые впадины глаз?

Не завидую другу, писателю Юлию Крелину, —
Он надежно усвоил, что вечность не стоит и цента.
Сколько раз с ним по-пьянке шутили мы,
молодо-зелено,
Что бояться не следует, — смертность, увы,
стоцентна.

Пропадает в больнице он ночи и дни тем не менее,
И смертельный диагноз скрывая лукавством,
Безнадежных больных принимает в свое отделение,
Где давно на исходе и медперсонал, и лекарства.

Не завидую другу, врачу безотказному Крелину, —
В неизбежных смертях он всегда без вины виноватый.
С незапамятных лет так судьбою жестокою велено:
Тот в Хароны идет, кто когда-то пошел в Гиппократы.

Не завидую я его горькой бессмысленной должности,
Но когда на меня смерть накинёт прозрачную сетку,
На него одного понадеюсь и я в безнадежности,
Для него одного за щекою припрячу монетку.

1994





В музыкальном творчестве Евгения Клячкина особое место занимает цикл песен на стихи Иосифа Бродского. Поэзия Бродского — по-видимому, крупнейшего русского поэта нашего времени, как будто совсем не нуждается в гитарном сопровождении. Да и сам Нобелевский лауреат неоднократно высказывал свое равнодушное отношение к жанру авторской песни. Что же побудило Евгения Клячкина, автора многих популярных песен на собственные стихи, обратиться к сложной и, на первый взгляд, далекой от песенного мира поэзии Бродского? В чем причина того, что именно благодаря музыке Клячкина, написанной к поэме «Шествие» и некоторым другим стихам Бродского в начале шестидесятых и в семидесятые годы, стихи эти, ни разу не опубликованные в печати в те «застойные» времена и бывшие достоянием сравнительно узкого круга московских и ленинградских интеллигентов, знакомых с ними изустно или по бледным машинописным копиям «самиздата», сразу стали популярны и известны по всей стране?

Хорошо помню, как в сибирской тайге и ленинградских электричках геологи, туристы, студенты распевали в ту пору чеканные строки: «И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога, и значит, остались только иллюзии и дорога». Появившиеся в то

глухое безвременье песни Клячкина на стихи Бродского, вместе с песнями Галича, Окуджавы, Кима и раннего Высоцкого, заложили основы «магнитофониздата», вызвали множество подражаний и послужили великому делу приобщения к истинной поэзии людей, от нее далеких.

*А. Городницкий.
Из книги «След в океане».*





**ПАМЯТИ
ЕВГЕНИЯ КЛЯЧКИНА**

Песня

Сигаретой опиши колечко.
Снова расставаться нам пора.
Ты теперь в земле остался вечной,
Где стоит июльская жара.
О тебе поплачет хмурый Питер
И родной израильский народ.
Только эти песни на иврите
Кто-нибудь навряд ли запоеет.
Со ступеней набережной старой
На воду пускаю я цветы.
Слышу я знакомую гитару.
Может, это вовсе и не ты,
Может, и не ты совсем, а некто
Улетел за тридевять земель,
Старый дом у Малого проспекта
Поменяв на город Ариэль.
Сигаретой опиши колечко,
Пусть дымок растает голубой.
Все равно на станции конечной
Скоро мы увидимся с тобой.
Пусть тебе приснится ночью синей,
Возвратив душе твоей покой,
Дождик василеостровских линий
Над холодной цинковой рекой.

1994



ПРИГОРОД

Садовых участков неяркий пейзаж,
Листами капусты лоскутными сотканный,
Где властвует частник, впадающий в раж,
Корпея до хруста над скудными сотками.

Недальнего пригорода рубежи,
Где мутна вода, и калитки задрены.
Все стоит здесь втридорога, и бомжи
Порою сюда забредают с окраины.

И свежей обновой блещут кирпичи,
Про время иное твердя у обочины,
Где черноголовые, словно грачи,
С утра за стеною колдуют рабочие.

Здесь дом трехэтажный какой-нибудь «траст»
Возводит по плану, сравнимому с вилами,
А кончится так же, как было не раз, —
Расправую пьяной, косою и вилами.

Затоплена печь. На исходе сезон.
И все, чего ждешь, не начавшись, кончается.
Тоской зарешеченных окон СИЗО
Ячеистый дождик над чашей качается.

1994



КАРСКОЕ МОРЕ

Море, хмурое спросонья,
По-английски «Kara Sea»,
Обжигает жидкой солью
Необжитый край Руси.

И Сибирь, в снега одета,
Словно мерин голубой,
Припадает к соли этой
Жадной Обскою губой.

Повернув на север дышло,
Рвется плоть ее громад
В океан, где смертью дышит
Неприветливый Грумант.

Не бывает здесь путины, —
Бухты плоские пусты.
Здесь одни ориентиры —
Безымянные кресты.

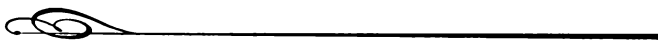
И кружит в тумане чайка,
И кричит издалека,
Что зазря Чрезвычайка
Разменяла Колчака.

Не с того ли имя «Кара»
Не один десяток лет
Угрожает Божьей карой,
Красит воду в черный цвет,

Океан лишает жизни
Силой ядерною злой,
Закрутившись черным джином
Над базальтовой скалой?

1994





МАЛЕЕВСКИЕ СНЫ

Где начало берет этих снов неизбывных обуза,
Что тоску нагоняют беззвездной малеевской ночью,
В старом доме безлюдном в лесистых окрестностях
Рузы,
Над Москвою-рекой на сырых заболоченных почвах?
Это ели бросают свои островерхие тени
На кривые проселки времен допотопных былинных.
Неустанно работают их корневые системы,
Истребляя подзол и рождая бесплодные глины.
Это ветром холодным сюда принесенные с моря,
Непрозрачные тучи дожди уронили в лицо вам.
Оперением черным листве закружившейся вторя,
Это стаи вороньи над полем кружат Воронцовым.
Это в недрах глубинных электромагнитные токи
Порождают сюжеты, что страха полны и азарта.
Здесь усилием воли из мутного выплыв потока,
Пробудясь поутру, о душе вспоминаешь внезапно,
Повстречавшись с теньями когда-то утраченных
близких,
Посетивши жилища, что сделались нынче золою...
И дрожат на песке пятипалые алые листья,
Намекая на связь между нами и темной землею.

1994



ЯЗЫК ЕКАТЕРИНИНСКОГО ВЕКА

Язык екатерининского века,
Музейных не востребовавшихся книг,
Не для простого создан человека, —
Он этим, вероятно, и велик.

В провинции, нечесаной и грязной,
Его навряд ли кто-нибудь поймет.
Он для приемов годен куртуазных,
Рескриптов государственных и од,

Радищевских эпистолярных жанров,
Нацеленных в грядущие века.
Державинскую кажется, державной
Его тяжеловесная строка.

Две сотни лет на нем не говорим мы,
И все же привлекает этот быт,
Где испытатель петербургский Риман
Громокипящей молнией убит.

Где солнечная стрелка над верстою
Подвыпивших торопит ямщиков,
И языка гранитные устои
Не тронули ни Пушкин, ни Барков.

1994



НА СЕДЬМОМ ДЕСЯТКЕ ЛЕТ

Песня

На седьмом десятке лет
Не попасть уже в десятку.
Не исписывай тетрадку,
Возомнив, что ты поэт.
На седьмом десятке лет
Грустный праздник день рожденья,
Круг друзей уходит тенью
И тебя торопит вслед.

На седьмом десятке лет
Не заводят шуры-муры,
От шальной стрелы амура
Станет клином белый свет.
На седьмом десятке лет,
Глядя в зеркало тревожно,
Только раз отмерить можно —
То ли резать, то ли нет.

На седьмом десятке лет,
Путь неверный мой итожа,
Подскажи мне тропку, Боже,
Без сомнений и без бед.
Подскажи такой обет,
Чтоб спокойно спать ночами...
Жизнь желанна — как вначале
На седьмом десятке лет.

1995



Нью-Йорк, Брайтон-Бич, 1993 г.



* * *

В стенном шкафу перебираю, робок,
Обломки жизни, прожитой вчера, —
Коллекции картонок и коробок,
Китайские складные веера.

Как символы утраченного дома,
Безмолвный предъявляют мне укор
Родительские старые альбомы,
Отцовский довоенный «фотокор».

На снимке дом (в блокаду он разрушен),
И подпись снизу: «Тридцать пятый год».
Сокровищницы елочных игрушек
Для новогодних праздничных забот:

Снегурочки, ежи, аэропланы,
Шары и шпиди. Помню, например,
Тот дирижаблик маленький стеклянный,
Где надпись на борту: «СССР».

А в глубине, уже у самой стенки,
Пылятся с незапамятных времен
Набор пластинок Клавдии Шульженко
И сломанный старинный патефон.

Теперь уже не кажется мне пошлой
Тех песен незатейливая грусть.
Кто со своим, смеясь, расстался прошлым,
Меня осудит, видимо, и пусть.

1995

* * *

Как у Вия тяжелеют веки.
Дотлевает день, как уголек.
Не бывать мне в двадцать первом веке,
Что уже, как будто, недалек.
Врач иглу протрет спиртовой ваткой.
Сердце заколотится в боку.
Предпоследней цифрою девятка
Поползет в короткую строку.
Поспешай же, праздник новогодний
К моему замерзшему окну.
Даже если выберусь сегодня,
Все равно недолго протяну.
Если постараться хорошенько,
Лет пяток, а больше не смогу.
Так матрос со шхуны Норденшельда
Не дошел до Диксона в пургу,
Чьи огни уже мерцали близко,
И замерз у крайнего крыльца,
Как об этом говорит записка
В меховом кармане мертвеца.

1995





ЛОТ

Над водою дымит лоза,
Вся округа огнем одета.
Завяжи мне, Рахиль, глаза, —
Я не в силах увидеть это.

От котомки болит плечо,
И вдогонку нам ручейками
Раскаленная соль течет,
Растворяя песок и камень.

Выжигает зрачки слеза
Продолжением едкой соли.
Завяжи мне, Рахиль, глаза, —
Я не выдержу этой боли.

Взад-вперед всемогущий Бог
Все гоняет нас по Синаю, —
Посреди соляных столбов
Как жену свою опознаю?

Наступающая гроза
Распускает пыльное знамя.
Завяжи мне, Рахиль, глаза,
Чтобы род наш не умер с нами.

1995



ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Мадонна-девочка, и в этом весь секрет
В ее обличи винчианском строгом.
Мадонна-девочка. Возможно или нет
Сынам Иосифа добиться сходства с Богом,
Ссылаясь на законное родство
По матери? Полет сестрицы старшей
Для гусеницы, бабочкой не ставшей,
Лишь оттеняет это волшебство.
И за седьмой заветною печатью
Хранит свой мир невидимый Господь,
Где на кресте не умирает плоть,
И непорочно тайное зачатие.

1995





МУЗЫКА НА БЕГУ

Что представить себе могу
В неуютное время года,
Слыша музыку на бегу
У подземного перехода,
Где озябший являют вид
При баяне или валторне,
То подвыпивший инвалид,
То студенты консерваторий?
Эскалаторная толпа
Замыкается в жестком цикле,
На три такта бежит толпа,
Словно лошади в цирке.

И в затылок чужой дыша,
(Громче музыка раздавайся!)
Вместе с нею дроблю я шаг
В ритме вальса.
Слушай музыку на бегу,
Вспоминая, покуда цел ты,
Бело-желтый фасад в снегу,
Симфонические концерты.
Слушай музыку на бегу,
Чтобы высветить вспышкой блинца
Вестибюля далекий гул,
Молодые лица.
Я бегу, суетой гоним,
Поспешая, как на вокзале, —
Мне уже не вернуться к ним,
Неподвижно сидящим в зале.

1995



Коктебель, 1998 г.
А. Городницкий, А. Наль, А. Кушнер.



ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ

Избежавший по случаю в детстве блокадных могил,
Собиравший патроны под Вырицей каждое лето,
Разбирать я винтовку на школьных уроках любил
И во влажной ладонке сжимать рукоять пистолета.

В экспедициях долгих, в колючей полярной пурге,
В заболоченной тундре, в глуши комариной
таежной,

Я привык на ходу ощущать самодельные ножны,
И ружейный приклад, ударявший меня по ноге.

Нам давали оружие в поле с собой, что ни год,
Положение наше в краях необжитых упрочив, —
Парабеллум немецкий, российский
наган-самовзвод, —
Карабин трехлинейный мне нравился более прочих.

Я его на привале к сухим прислонял рюкзакам,
Засыпал по ночам с вороненою сталью в обнимку.
Из него я палил по напившимся в дым мужикам,
Что явились насиловать нашу коллекторшу Нинку.

Я патроны казенные в каждом сезоне копил, —
Мне давала завод эта сила холодная злая,
Но отец мой однажды сложил их в авоську, гуляя,
И под сумки с патронами в ближнем пруду утопил.

И распродал я ружья, доставшиеся с трудом,
А наборные финки друзьям раздарил я по-пьяни,
Поручая себя уготованной свыше охране,
От ненужных предметов очистив пустеющий дом.

И когда засыпаю, усталых не чувствуя ног,
Доживающий старость в пору крутизны оголтелой,
Не дрожит от испуга защиты лишенное тело,
Не колотится сердце, и сон мой спокойный глубок.

1995





БОСТОН

И. и С. Кашиным

Мы узники географии. В талом
Снегу припортовым бредем кварталом,
Стараясь вырулить в Чайна-таун
К ресторанчикам с надписями «Си Фуд».
Европы сторожевым форпостом,
В чередовании улиц пестром,
Вокруг поворачивается Бостон,
Перемещаясь за футом фут.

Это еще не Америка. Старый
Свет здесь представлен пустою тарой
Из-под таможни, сырой отарой
Облаков, бегущих издалека
Над океана сияющей лентой,
Разобщившей некогда континенты,
Как утверждал это Вегенер некто,
Чье имя переживет века.

Переселенцы, оставим пренья, —
В мире всеобщего ускоренья,
Затуманенным ностальгией зреньем
Не то увидишь, на что глядел.
Если Европу с Америкой сдвинуть,
Соединив как две половины
Яблока, в самую середину
Бостона угодит раздел.

Не потому ли в раздумьях над тостом,
Соусом поперхнувшись острым,
В контурах зданий Васильевский остров
Видишь за окнами вдруг,
В зале, где саксы, евреи, непальцы,
Вышитые на разных пальцах,
Переплетаются, словно пальцы
Соединившихся рук?

Там, за знакомыми с детства домами,
Словно за сдвинутыми томами,
В сеющейся атлантической манне,
Твой обрывается след.
Так грозное дыхание озона
Снова напомнить могло Робинзону
Остров его — каменистую зону,
Столько унесшую лет.

Слово «юнайтед» рюмахой уважив,
В небе с потеками дыма и сажки
Разные мы созерцаем пейзажи
Из одного окна,
Объединенные общей тоскою,
Жизнью единою городской,
И гробовой недалекой доскою,
Где будут разные письма.

1995





* * *

Была ли Атлантида или нет?
Профессор греческий внимает мне серьезно.
Ночное небо летнее беззвездно.
Струится в комнату холодноватый свет
С залива Финского. Отвечу, что была,
И положу на стол морскую карту,
И подчиняясь детскому азарту,
Подводный опишу архипелаг,
Который наблюдал через стекло
Иллюминатора в подводном аппарате,
Где, помнится, дышалось тяжело,
И фотопленку попусту потратя,
Я рисовал старательно затем
Все то, что в полутьме доступно глазу, —
Руины башни, лестницы и стен, —
И сам поверю своему рассказу.
Ведь этот старый выдумщик Платон,
Сократом уличенный в фантазерстве,
Не мог с Солоном разделить позор свой,
Воспоминаний завершая том.
За окнами становится темней.
Нас осеняет общая идея
Легенды допотопной. Перед ней
Ни эллина уж нет, ни иудея.
И проявив научное чутье,

Из фляги греческой некрепкое питье,
Мерцающее в сумерках, как пламя,
Мы разольем, поднявшись над столами,
И выпьем, чокнувшись, за гордый флаг ее,
За детство, что у каждого свое,
За прошлое, утраченное нами.

1995





БРАТЬЯМ ШТЕЙНБЕРГАМ

Топчан, сколоченный толково,
Портрет работы Кулакова,
В окне крутые облака
Над краем крыши. Где вы, братья?
Раскроем дружные объятия, —
Ведь старость тоже коротка.

Я слышал — оба вы не близко:
Один, как будто, в Сан-Франциско,
Откуда прислана записка,
Мол, повидаться бы пора.
Другого призывают к риску
Вулканов черные ветра.

Нам не вернуть уже, пожалуй,
Под звуки песен Окуджавы,
Родные прежде этажи.
Над Пушкинской сырая темень, —
Там обитают только тени
И с ними схожие БОМЖи.

Какой-нибудь отыщем повод,
Нагрузим телефонный провод,
Найдем похожее окно,
И учиним, не медля больше,
Подобье старческой дебоши,
Как грустно шучивал Жанно.

Хлебнув нехитрого спиртного,
Вообразим, что юны снова, —
Моложе тех, которых нет.
Портрет работы Кулакова
Подскажет правильный ответ.

Не лысые и не седые,
В табачном утопая дыме,
Читая давние стихи,
Вернемся в годы молодые,
Припомнив старые грехи,

Где слушали, хватив портвейна,
Рычанье алчущего Рейна,
Свободной кисти мастера,
И Глеба пьяного куплеты
Самозабвенные поэты
Кричали хором до утра.

Где синий свет сжигает лица,
И день, манящий впереди,
И ночь, что, не темнея, длится,
Подобны шахматному блицу, —
Рукой дотронулся — ходи.

1995





* * *

Я не люблю железных дровосеков.
Становится мне зябко всякий раз,
Когда на мне задержатся фасетки
Их синеватых литиевых глаз.

Ссылаемые и невыездные,
Врагов непримиримые враги,
Мы все за их старания должны им, —
Я, вероятно, более других.

Поскольку не был жертвою гонений,
Не обличал неправого суда.
Куда мне до не знающих сомнений,
Не ведающих страха и стыда?

Я не герой, я из другого теста.
И все-таки не сетую на то,
Что не дарован мне судьбою вместо
Больного сердца пламенный мотор.

Что пережил и штормы и грозу я,
Благих деяний не умножив том,
Дорогу никому не указуя
Негнушимся заржавленным перстом.

1995





БАНКОВСКИЙ МОСТИК

Не просто пролог отличить от финала, —
Все так же звенит под ногою булыжник,
И можно, склонившись над краем канала,
Подумать, что время стоит неподвижно,
Баюкая темных домов отраженья,
И снова мы мальчики, а не мужчины,
Над мутной водою, лишённой движенья,
В которой свои не увидишь морщины.
Над гаванью близкой кричат альбатросы,
И ветер приходит на прежние круги.
Грифоны, зубами зажавшие тросы,
Недвижно сидят, отражаясь друг в друге.
И вновь под рукою, как в школьные годы,
Крыла золотого поверхность литая.
Не все улетели от хмурой погоды, —
Вот звери крылатые не улетают.
Неправда, что входим мы лишь однократно
В бегущую воду, — не дважды, не трижды, —

Всего-то и дела — вернуться обратно
В число отражений ее неподвижных.
Всего-то и дела — взглядеться получше
В глубины зеркал, где над золотом спицей
В мохеровом облаке солнечный лучик
Мерцает забытой в вязании спицей.

1995



* * *

Этот край, навек запавший в сердце,
Где метели буйствуют, метя,
Что здесь привлекало иноверцев,
Иноземцев, инопланетян?

Капища с лесными Перунами?
Черная задымленная клеть?
«Приходите и владейте нами», —
Не дай, Боже, вами володеть!

Ремешком перепоясать лоб свой,
Тощие выпрашивать куски,
И вкусить от вашего уродства,
Злобы неоглядной и тоски.

Разговоров о Четвертом Риме,
Утвари соборов и палат.
Все, что есть хорошего, отринут,
Прогуляют, выкинут, спалят.

А потом, смилив на время норов,
Будут снова в поисках идей
Приглашать заморских гувернеров,
Пастырей, строителей, вождей.

Так злодей, глаза потупив чинно,
Топоры упрятав под рядно,

В дом зовет заезжего купчину,
Где уже отравлено вино.

И храпит от ярости и боли
Седоком не укрощенный конь,
И кружится над Москвою «боинг»
Бабочкой, летящей на огонь.

1995



ЦИТИРУЯ КЛАССИКОВ

Горька, как недозревшая рябина,
Российская извечная судьба.
«Все те же мы, — нам целый мир чужбина», —
Отечество нам — дымная изба.

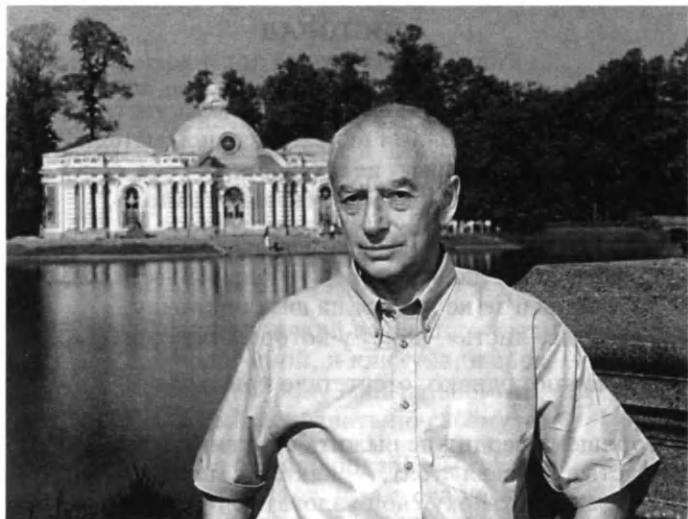
«О чем шумите вы, народные витии?»
Держава рассыпается, как стог.
Так сгнула когда-то Византия,
Не предпочтя ни Запад, ни Восток.

Повсюду грабежи. Уже дошло до касс,
Резни на улицах. Осудит нас потомок.
Мы выросли во лжи. Нам Запад не указ,
Да и Восток для пониманья тонок.

В себе нам не изжить дыхание зимы,
Славянские исконные раздоры.
Не скифы мы, но азиаты мы
Над европейским ящичком Пандоры.

Разумных голосов не слышно в реве толп,
И как тропой окольной ни топай,
Мы неподвижны, как гранитный столб,
Меж Азией стоящий и Европой.

1995



Царское Село. 1996 г.
Фото Ю. Богданова.



ЛИСТОПАД

Песня

Лужайка у дома опавшей листвою зарастает.
Над черными кронами шорох багряной метели.
Осенние листья, увы, не сбиваются в стаи.
Когда бы смогли, вероятно бы к югу летели,

На землю опять опускаясь для отдыха ночью,
Смещаясь все дальше от рек неподвижных ледовых,
Но птицы и те не летают на юг в одиночку,
Тем более листья, полет у которых недолог.

Возможно, однако, отсутствие крыльев —
не довод,
Горящему сердцу не выжить с ветвями в разлуке.
Пустые деревья стоят, — как печальные вдовы,
Воздевшие кверху свои узловатые руки.

И я упаду, откружившись в цветном карнавале,
Заржавленный лист, позабывший зеленое детство,
У веток родных, что когда-то меня обнимали,
У этих корней, от которых мне некуда деться.

1995



* * *

Ноют под вечер усталые кости.
Смотришь назад, и не видно ни зги.
Мы начинали не с кухонь московских, —
С тундры скорее и чахлой тайги,

Где на заснеженной лесосеке,
Горькую брагу пригубив едва,
Песни гнусавили бывшие зеки,
Переиначивая слова.

Всякий поющий из разного теста, —
Возраст иной, и кликуха, и срок,
Значит, строку изначального текста
Каждый исправить по-своему мог.

Там не бывало подзвучки гитарной, —
Климат не тот, и закуска не та,
Но подпевали припев благодарно
Матом измученные уста.

И, возвращаясь к навязчивой теме
Тех позабытых и проклятых лет,
Должен делить я соавторство с теми,
Кто еще есть, и кого уже нет.

1996





* * *

Я в юности раз заблудился в горячей тайге,
Где странствовал час, заплутав в раскаленной пурге.
Тлел ягель сырой, поминутно хватая за пятки.
Сгибались стволы, словно в вольтовой жаркой дуге,
И больно приклад на ходу ударял по ноге,
Меня понукая скорее бежать без оглядки.

Бежать, но куда? Непроглядная серая мгла,
Глаза разъедая, на них пеленою легла, —
Лишь тени и света мелькали лиловые пятна.
Когда задыхаясь, сжигая подметки дотла,
Я брел, торопясь, от ствола до другого ствола,
Чтобы потом поворачивать в страхе обратно.

Зачем же сегодня, — когда и в помине уж нет
Свидетелей тех из забвения вызванных лет,
Которые толком уже и не помню, пожалуй,
Приносит мне снова ночной неожиданный бред
Горящего ельника темно-малиновый свет
И едкую горечь таежного злого пожара?

Не надо меня утешать, понапрасну не лги.
Я чувствую ясно дыхание черной пурги,
Опять за спиною деревья трещат, как поленья,
Танцуют багровые перед глазами круги,
И жар раскаляет худые мои сапоги,
А серый туман отрезает пути отступленья.

1996



* * *

Г.Ковалевой

В Баварии летней, близ города славного Мюнх,
Мы в доме немецком гостили в начале июня.
Там сад колыхался в оконном, до пола, стекле,
Дразня сочетанием красок, пронзительно светлых,
И фогельхен утром кричали приветливо с веток:
«Вставайте, бездельники, — завтрак уже на столе».

Плыл благовест тихий от мачты недалекого шпица.
Алела нарядно на крышах крутых черепица,
Над сбитыми сливками белых по-южному стен.
Хозяин в войну был десантником, но, слава Богу,
Под Лугой сломал при ночном приземлении ногу,
А после во Франции сдался союзникам в плен.

Он строил потом водосбросы, туннели, плотины, —
Его окружают знакомые с детства картины
У жизни в конце, понемногу сходящей на нет.
Австрийские Альпы парят вдалеке невесомо,
По радио внук исполняет концерт Мендельсона,
Упругими пальцами нежно сжимая кларнет.

И хмель обретает брожение солнца на склонах
Над быстрым Изаром, у вод его светло-зеленых,
Вокруг навевая счастливый и медленный сон.
И можно ли думать о грянувшей здесь катастрофе
Под дивные запахи этого свежего кофе
И тихую музыку? Слава тебе, Мендельсон!

1996



УРОКИ НЕМЕЦКОГО

Под покрывалом бархатным подушка,
С литою крышечкой фаянсовая кружка,
Мне вспоминаются по вечерам,
Пенсне старинного серебряная дужка,
Агата Юльевна, опрятная старушка,
Меня немецким обучавшая словам.

Тогда все это называлось «группа».
Теперь и вспоминать, конечно, глупо
Спектакли детские, цветную канитель.
Потом война, заснеженные трупы,
Из клейстера похлебка вместо супа,
На Невском непроглядная метель.

Ах, песенки о солнечной форели,
Мы по-немецки их нестройно пели.
В окошке шпиль светился над Невой.
... Коптилки огонек, что тлеет еле-еле,
Соседний сквер, опасный при обстреле,
Ночной сирены сумеречный вой.

Не знаю, где теперь ее могила, —
В степях Караганды, на Колыме унылой,
У пискаревских каменных оград.
Агата Юльевна, — оставим все, как было,
Агата Юльевна, язык не виноват.

Спасибо за урок. Пускай вернется снова
Немецкий четкий слог, рокошущее слово,
Из детства, из-за тридевять земель,
Где голоса мальчишеского хора,
Фигурки из саксонского фарфора
И Шуберта хрустальная капель.

1996





* * *

Повернуть к истокам не старайтесь реки,
С прошлым не проститься нам, громко хлопнув
дверью.

Общим кровотоком связаны навеки
Сталинград с Царицыным и Калинин с Тверью.

Запахи квартирные, храмы обезглавленные,
Лозунги плакатные, блочные коробки,
Петербуржцы мирные почивают в Лавре,
Узники блокадные спят на Пискаревке.

Кто в своей могиле первым должен сдаться,
Поделив обильные горести и славу,
Как их поделили Гданьск и прежний Данциг,
Вильнюс с прежним Вильно, Вроцлав и Бреслау?

Не мечите слово в разговорах страстных, —
Нет пути хорошего в этой теореме, —
Если можно снова отобрать пространство,
То отнять у прошлого невозможно время.

Долгая там будет путаница с письмами,
Длительные прения в песнях и трудах,
Где посмертно люди навсегда прописаны
В разных измерениях, в разных городах.

1996

* * *

Предназначенный для счастья,
Словно страус для полета,
Я взираю безучастно
На коричневое фото.

Тает город в серой дымке
Над помятым документом.
Дед на выгоревшем снимке
Шарит шорным инструментом.

Облачен в очки и фартук,
Спину гнет, не зная грусти,
Отпрыск горестных сифардов
В могилевском захолустье.

Там сырою пахнет кожей,
Век иной и жизнь другая,
И отец трехлетний тоже
Что-то держит, помогая.

Вот и все, что соберу я
Из забытой родословной.
Та немислимая сбруя
Развалилась безусловно.

Мне не нужен дедов опыт, —
Ремесла его не жаль мне.
...А ночами снится топот
И заливистое ржанье.

1996



...Из актеров «Современника» более других еще с конца шестидесятых я подружился с Валентином Никулиным, запомнившимся мне по страшной роли Смердякова в фильме «Братья Карамазовы». Его вечно худое и часто небритое лицо хронического язвенника буквально преобразалось, когда он читал стихи. А знал он их великое множество — от Шекспира и Пастернака до Мачадо в прекрасных переводах Эренбурга. Пел он тоже своеобразно, под фортепьяно, немного под Вертинского, с большими, иногда затянутыми паузами и порой с излишней аффектацией, но всегда — превосходно. Именно он впервые спел со сцены «запретную» песню, написанную мною в 1966 году в Польше в Освенциме: «И лежат под камнями москали и поляки, а евреи так вовсе — нигде не лежат».

Как-то он несколько дней прожил у меня в Ленинграде, снимаясь на Ленфильме в кинокартине «Баллада о Беринге и его братьях». Играл он ученого-ботаника, участвующего в многострадальной беринговской экспедиции, и поэтому более месяца не должен был бриться. В результате Валентин оброс весьма неопрятной худой и рыжей бородой, что вместе с редкими торчащими изо рта зубами и седоватой шевелюрой вид ему придавало весьма страшолюдный. Как раз в это время он узнал, что мать моего тогдашнего аккомпаниатора Олега Шмойлова ра-

ботает районным прокурором, и воспыал чисто актерской идеей поехать вместе с ней на очередной допрос в «Кресты», чтобы взглянуть на эту печально известную тюрьму. Посидев какое-то время в показанной ему камере, он соскучился и решил выйти покурить в коридор. Однако, как только вышел из камеры, где находились его спутники, тут же начисто забыл ее номер. Некоторое время он безуспешно пытался стучать в совершенно одинаковые железные двери с «намордниками», пока появившийся откуда-то тюремный надзиратель, увидев его типично уголовный облик, не цыкнул на него: «Ну, ты, курва, я тебе еще вчера сказал парашу вынести, марш в камеру!» И вклепил увесистую оплеуху. Мать Олега около двух часов искала пропавшего Никулина по всем «Крестам». Выйдя наконец из тюремных ворот, он, втянув голову, без оглядки бежал до самого метро.

После моего переезда в Москву мы с ним продолжали нередко встречаться в доме у Людмилы Ивановой или в Опалихе у Давида Самойлова, которого Валентин боготворил. Никулин состарился, бросил пить, дважды поменял жен, стал сначала заслуженным, потом народным. Последняя наша встреча оставила у меня грустное впечатление. Было это в декабре 1990 года в Иерусалиме. Мы с Игорем Губерманом заехали на базар купить фруктов и овощей на мою «отвальную» (я возвращался в Москву). Неожиданно посередине узкой улочки, запруженной автомобилями и пешеходами, я увидел Валю Никулина, окруженного небольшой стайкой журналистов. Вид у него был потерянный, глаза лихорадочно-веселые. «Саня, представляешь? — оживился он, как бы продолжая прерванный разговор. — Я ухитрился сюда всю звуковую аппаратуру беспощинно вывезти».

Выяснилось, что он навсегда расстался с Москвой и переезжает в Израиль. На следующий день я прочел в русскоязычной иерусалимской газете интервью с Никулиным под бодрым заголовком: «Полагаю, что в Израиле я буду «бесейдер» (в порядке)». Бодряческий самоуверенный тон интервью никак не вязался с испуганным выражением его нервного астенического лица на фотографии с узким, вечно небритым подбородком и трагически поднятыми бровями. Судя по интервью, он рассчитывал организовать в Израиле вместе с другими актерами и режиссерами — Арьевым, Козаковым, Каневским русский театр, в успехе которого он наперед уверен. Мне же вспоминались его лицо на российских экранах, приглушенный шепот в метро: «Смотри, Никулин», вдохновенный глуховатый голос, поющий Окуджаву или читающий Самойлова, и втянутая в плечи голова на пути из «Крестов» к Финляндскому вокзалу.

...Так распадалась связь времен незабвенных шестидесятых...

*А. Городницкий.
Из книги «След в океане».*





ОТРАЖЕНИЕ

Приснится внезапно забытая пьянка
В палатке, обтянутой тонкой перкалью.
Так шарит, ища двойника, обезьянка
Ладошкой морщинистой по зазеркалью.

Свой путь от нее недалекий итожа,
И я, как она, перед зеркалом замер,
С тоской созерцая унылую рожу, —
Морщины и плешь, синяки под глазами.

А помнишь, — заброшенные на Север,
Еще не привыкшие к пораженьям,
Смотрелись с тобой в зеркала Енисея,
Довольные собственным отраженьем?

А помнишь, в пространство соленое канув,
Где зыби колышутся плоские волны,
Смотрелись с тобой в зеркала океанов
И были своим отраженьем довольны?

Не верь этим стеклам, белесым от пыли, —
Безвременно старят домашние стены.
Мы те же, что были, мы те же, что были,
А зеркало требует срочной замены.

Ну что же, дружок, сокрушаться не нужно, —
Потерь опасаться не стоит осенних:
Уходит любовь, но останется дружба, —
Так часто бывает в стареющих семьях.

1996

РОДСТВО
ПО СЛОВУ





1999 г. Нью-Йорк.



* * *

Мне непонятен современный стих.
Пусть молодые судят молодых,
Я никого из них судить не вправе,
Причастных к обольстительной отраве
Писательства, поскольку ни они,
Ни я неинтересны для потомков.
Поэзия — наркотику сродни:
Чем дольше кайф, тем яростнее ломка.
Когда уходит солнце на закат,
Ежеминутно удлиняя тени,
Чужого не освою языка,
Чужих не оценю изобретений.
Бери перо смелее, ученик,
Смертельного не убоявшись яда,
Чтобы счастливым сделаться на миг
Или на сутки, — большего не надо.
Не в результате дело — сам процесс
Сближает ощущением полета
И ястреба под золотом небес,
И ржавый лист, слетающий в болото.

1996





ПЕРЕДЕЛКИНО

Что было — давно поистратили, —
Ни образов нет, ни идей.
Приют престарелых писателей, —
Союз одиноких людей.

Их потчуют кашею манною,
Подушки кладут под бока,
Рождая в них чувство обманное,
Что все неизменно пока.

Их радует свет электрический
И рисовый суп на обед.
Они еще живы физически,
А их уже, в сущности, нет.

Неужто и я унаследую
Униженный этот покой?
Мне лучше бы с песней последнею
Упасть, захлебнувшись строкой.

Мне лучше под пулей расстрельною
Сползти по кровавой стене,
Чем тенью слоняться бесцельною
Меж этих безтельных теней.

1996



Каада, 1999 г. Ниагарский водопад.



* * *

Я родился от тех,
Кто десницей Господней рассеян,
Уходить не хотел
За печальной толпой Моисея,
И доселе влачит
Вековечный привычный полон свой,
Посреди пирамид,
У мелеющих рек вавилонских.

Не дано выбирать мне,
Попавшему в вязкое тесто,
Ни отца или мать,
Ни рождения время и место,
Перелески и веси
Меня приютившей купели,
И мелодии песен,
Услышанных в колыбели.

Снежный мир заоконный
Сиял мне в заклеенной раме.
Только Бог отмененный
В музеем объявленном храме
С нашей общей землею
Напомнить мне мог о разлуке,
Разводя надо мною
Гвоздями пробитые руки.

Это все уже пройдено, —
Братьям своим не чета я.
Я считал это Родиной,
Так и сегодня считаю.
Мы пылинки в руке,
Выбирающей зной или слякоть,
На каком языке
Говорить нам придется и плакать,
Колыханье листвы
Вспоминая, знакомое с детства,
И не просто, увы,
Изменить это с помощью бегства.

1996





ГЕРМАНИЯ

Этот вид, из вагонных открывшийся окон,
Этот зелени пышной насыщенный цвет!
Что Германия больше понравилась Блоку
Чем Италия, в том непонятого нет.

Школьных лет предваряя былые вопросы,
Заготовил ответы любой поворот.
Здесь когда-то поход начинал Барбаросса,
Карл Великий на Майне отыскивал брод.

Меж руинами замков, у ног Лорелеи,
Безмятежного Рейна струится вода.
Почему ее так обожали евреи
И себе на беду приезжали сюда?

Вслед за этим в золу обратившимся хором
Восславляю и я то пространство, в котором
То гравюра мелькает, то яркий лубок,
Где над кельнским растаявшим в небе собором
Обитает в тумане невидимый Бог.

Меж Висбаденом, Марбургом и Гейдельбергом,
Всем блокадным сомненьям моим вопреки,
Возникают великие тени и меркнут
Под навязчивый шепот знакомой строки.

Триста лет состояли мы в брачном союзе,
То враждуя, то снова друг друга любя.
Не напрасно немецкой медлительной музе
Ломоносов и Тютчев вверяли себя,

Белокурой невест подводя к аналогу.
И в итоге недавней войны Мировой
Стали русские парни немецкой землей,
А солдаты немецкие — русской землей.

Неслучайно во времени нашем капризном
Начинается новых братаний пора,
И марксизм-сталинизм обнялись с гитлеризмом,
Воплощая в веках завещанье Петра.

Никогда не изжить этот горестный опыт,
Императоров наших остзейскую кровь,
То окно, что когда-то пробито в Европу,
Неизменную эту любовь.

1997





* * *

Меня спасли немецкие врачи
В одной из клиник Гамбурга сырого,
Мой позвоночник разобрал и снова
Соединив его, как кирпичи.

Я перед этим твердо осознал:
За двадцать дней бессонницы и боли
Подпишешь ты признание любое.
Как вы — не знаю, — я бы подписал.

Меня спасли немецкие друзья,
Снабдивши визой, авиабилетом,
И объяснив жене моей при этом,
Что часа медлить более нельзя.

И если Бог мне даст еще здоровье,
Я буду помнить на своем веку
Красавицу Наташу Касперович,
Погромы пережившую в Баку,

И Вас, профессор Ульрика Байзигель,
С кем были незнакомы мы почти,
Которая чиновникам грозила,
Чтоб не застрял я где-нибудь в пути.

В дождливой атлантической ночи,
Пропитанной настоем листопада,

Меня спасли немецкие врачи,
Блокадного питомца Ленинграда.

И город, что похож на Ленинград,
Я полюбил порой осенней поздней, —
Там громкие слова не говорят,
Поскольку делом заняты серьезным,

Чугун мостов на медленной реке,
Где наводнений грозные отметки,
И пусть не слишком знаю я немецкий, —
Мы говорим на общем языке.

1997





ИВЫ

Над берегом танцующие ивы,
Застывшие, как пляшущие Шивы,
В разлете извивающихся рук.
Еще лишенных лиственной окраски,
Из многолетней судорожной пляски
Дневною вспышкой выхвачены вдруг.

Нам не увидеть этого движенья,
Когда изменят ветви положенье, —
Одна пойдет наверх, другая вниз.
Так плясуны, несущиеся в танце,
Не могут неподвижными остаться,
Какими их изобразил Матисс.

Вокруг наброски майских акварелей,
И соловей осваивает трели,
Неслышанные пробуя лады.
Лишь к осени с седых лаокоонов
Скользнет листва Офелией зеленой
В кружение стремительной воды.

Припомни, как в «замри» играли в детстве.
Мы все живем в пространственном соседстве,
Где от мгновенья век неотличим,
Обнявшиеся в общем хороводе,
И нету неподвижности в природе, —
Есть только такты разных величин.

1997



МОГИЛА КАНТА

От разрывов дрожит мостовая,
И земная ломается ось.
«Кант, ты понял, что мир познаваем?»
На могиле написано вкось.

Продолжения этих вопросов
Не услышишь. Окрестность пуста.
Неизвестный российский философ
Где-то рядом лежит без креста.

Расстреляв автоматные диски,
От обители невдалеке,
Оборвав неоконченный диспут
Неожиданной точкой в строке,

Не дождавшись ответа коллеги,
На исходе войны Мировой,
У реки под названием Прегель
Прорастает он прусской травой.

Озорную припомню строку я
Под готической сенью капелл,
И о нем, убиенном, тоскую,
Что он мира познать не успел.

1997



* * *

И тебе бы свой век коротать на Ганзейском причале,
Fremde Sprache опять изучая в конце, как в начале
Довоенного детства в забывшемся сороковом.
Бессловесно гулять вдоль тенистых каналов,
Торопясь обставлять на пороге финала
Свой последний бесплатно полученный дом.

Надевая кипу, по субботам ходить в синагогу,
Умножая толпу, что освоила понемногу
Европейский добротный уют,
Получая доход от шести миллионов погибших,
Пробавляясь за счет тех безвестных Рахилей
и Гиршей,
Что когда-то здесь жили, а нынче уже не живут.

У прилавков чужих вопрошать: «Wieviel kostet?»,
Позабыв о сгоревших в огне Холокоста,
У холодных морей на краю,
Принимая уплату за кровь их и смертные муки,
Чтобы спали спокойно убийц белокурые внуки,
Откупившие совесть твою.

1997





1998 г. Царское Село.
После вручения царскосельской художественной премии.
Д. Лихачев, А. Городницкий, Э. Неизвестный.
Фото Ю. Богданова.



* * *

Монархии в России не бывать.
А если повторится, повторяются
Кровосмешенья и детоубийства,
Иван, Борис и Петр Алексеич,
Художник Репин: «Грозный убивает
Царевича», или художник Ге:
«Царь Петр судит сына Алексея».

Монархии в России не бывать.
А если повторится, повторяются
Варяги, ляхи, немцы и татары,
Что русский перехватывали трон:
«Придите к нам и владейте нами».

Монархии в России не бывать.
А если повторится, повторяются
Любезные народу самозванцы:
Лжедмитрии, Петры и Александры,
Святые подозрительные старцы,
Сбежавшие в Сибирь из Таганрога,
Отрепьев и свирепый Пугачев.

Монархии в России не бывать.
А если повторится, повторяются
Цареубийства, заговоры, Пален
С шарфом в руках, продрогший Гриневицкий

Со взрывпакетом, смертники, бомбисты,
В подвале окровавленном Юровский
С расстрельною командой. «Мы пойдём
Другим путем», — говаривал Ульянов.

Монархии в России не бывать.
Поскольку раб не создан быть царем,
Как сказано у Киплинга, а прочих
В России нет. Они лежат во рвах,
Что «От Москвы до самых до окраин».
Уже никто не даст нам избавленья, —
«Ни Бог, ни царь, и не герой», как пелл,
Благоговейно поднимаясь с места,
В том гимне, что пришел к нам вместо: «Боже,
Царя храни». Увы, не сохранил.

Монархии в России не бывать.
История не воротится в русло,
Размытое однажды половодьем,
Хотя и мало, в сущности, надежды,
Что мы освобождения добьемся
«Своею собственной рукой», привыкшей
Не к мастерку, лопате или кисти,
И не к компьютерной клавиатуре,
А к топору, гранате и ножу.

1997





ЭГМОНТ

Перелистываю жизнь бегло,
На старинные смотря шпили.
Это площадь, где казнен Эгмонт, —
Про него я прочитал в «Тиле».

В узком доме, где пекут тесто,
Он, оставшись до конца гордым,
Ночь последнюю провел вместе
Со сподвижником своим Горном.

Вижу профиль я его дерзкий
И фламандских кружевов завязь.
Почему-то этот граф с детства
Вызывает у меня зависть.

Не услышишь голосов хриплых,
К позабытым воротясь темам.
Вот рванется в вышину скрипка,
И расстанется душа с телом.

Но назавтра победят люди, —
Корабелы, плясуны, гёзы.
Ах, спасибо тебе, Ван-Людвиг,
За мальчишеские те грезы.

Не отыщешь своего эго, —
Тот морщинистый старик ты ли?
Здесь на площади казнен Эгмонт, —
Про него я прочитал в «Тиле».

На торжественной его тризне
Эту доблесть по себе мерьте.
Не завидую чужой жизни,
А завидую чужой смерти.

1997





* * *

Узнать невозможно заранее,
Где рай ожидает, где ад.
Еврей, приехав в Германию,
Еврейми быть не хотят.

Меж Март, Иоганнов и Фрицев
Во всю эмигрантскую прыть
Стремятся они раствориться
И чада свои растворить.

Зачем, помышляя о чуде,
Качая цветы в хрустале,
Опять поселяются люди
На выжженной прежде земле,
К подножиям сонных вулканов
Свои прилепив города,
Себя уверяя лукаво,
Что больше уже никогда?

Так просто на этом причале
Укрыться с течением дней
От глаз своих в вечной печали,
От русскоязычных корней.

В других раствориться незримо
И стать европейцами вновь,
Как будто и впрямь растворима
Густая еврейская кровь.

1997



КАЗАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Здесь не трава забвенья, а вода,
Твердеющая только в холода,
Могилы заливаает в половодье,
Под проблесками мартовских ночей
И криком воротившихся грачей
Преображая скудные уголья
Владельцев их. Потешный этот флот
Над облачной прорехою плывет
Неспешною походною колонной.
Надгробия как рубки высоки,
Мерцают заржавевшие венки
Листвой неоппадающей зеленой.
Оставшийся пока на берегу,
Что пожелать вдогонку им могу
В их плаваньи, не ведающем срока,
Покуда, строй кильватерный храня,
Уносит их все дальше от меня
Притоком Стикса ставшая протока?

1997





С Б. Окуджавой. Москва. 1986 г.



...Основоположником авторской песни обычно считают Булата Окуджаву, и для шестидесятых годов это, пожалуй, верно. Но если мы заглянем подалее, в нашу раннюю историю и даже в античные времена, то немедленно убедимся, что авторская песня существовала всегда. Задолго до появления печатных станков и даже письменности. Именно она легла в основу всех форм современной литературы. При этом изустное творчество неизменно было связано со струнным инструментом — арфа, гусли, саз, гитара. Музыкальное сопровождение древних авторов было, видимо, несложным. Нехитрое струнное звучание не претендовало на оригинальную мелодию, а скорее создавало музыкальный фон для повествования, силовое поле, заставляющее слушателей быть внимательными. Что касается нашей отечественной истории, то одним из основоположников авторской песни можно считать легендарного Бояна или не менее легендарного Садко. Вот уж этот-то, по-видимому, был и впрямь самодеятельным автором, так как по основной своей профессии работал в системе «Внешторга» Древнего Новгорода, а песни сочинял явно «идейно невыдержанные», что и привело, если верить былинам, однажды к тому, что реакционная боярская администрация вытолкала его с пира вашей.

Если все это так, то как же получилось, что авторская песня вновь появилась в нашей стране в середине двадцатого века? Ну, средние века — это по-

нятно: из-за низкого уровня письменности, отсутствия радио, телевидения, печати единственной формой песенного общения было изустное. Но теперь-то все это есть! В том-то и дело, что в шестидесятые и семидесятые годы, которые теперь называют «эпохой застоя», все эти могучие средства, находящиеся под строгим контролем государства и партийной бюрократии, для настоящего искусства оказались наглухо закрытыми. И народ, со свойственной ему изобретательностью, снова вернулся к средневековым формам общения. Правда, не совсем. С появлением и развитием магнитофонной техники в нашей стране, наряду с «самиздатом» появился «магнитофониздат». Так что сам факт появления авторской песни в затхлые брежневские времена, после того как «наш дорогой Никита Сергеевич» успел напоследок изрядно погромить изобразительное искусство и печатную поэзию, уже был крамольным. Он свидетельствовал о большом беспорядке в «датском королевстве». И это было сразу же правильно понято ревнивыми хранителями идейной чистоты нашего искусства, исходившими из принципа, метко сформулированного в одной из сатирических песен Юлия Кима:

А как у нас по линии искусства? —
Рады стараться, — Боже, ЦеКа храни!

Действительно, с самого момента своего появления авторская песня постоянно запрещалась и многократно предавалась анафеме с высоких трибун и в печати. Я вспоминаю одно из первых выступлений Булата Окуджавы в моем родном Ленинграде, после которого он был подвергнут травле в доносительской статье некоего И. Лисочкина, опубликованной в комсомольской газете «Смена». На выступлении, проходившем в Доме работников искусств на Невском, присутствовало довольно много

ленинградских композиторов, которые не стеснялись топтать ногами, освистывать автора, выкрикивать: «Пошлость!» и всячески выражать свое возмущение. После концерта, уже в гардеробе, к Окуджаве подскочил именитый в те поры и обласканный властями композитор Иван Держинский, автор популярной в сталинские годы оперы «Тихий Дон». Багровый от негодования, брызжа слюной, он размахивал руками перед самым носом Булата Окуджавы и кричал: «Я не позволю подобного безобразия в нашем доме. Я — Держинский! Я — Держинский!» Обстановку неожиданно разрядил стоявший за разбушевавшимся композитором известный актер БДТ Евгений Лебедев, который хлопнул его по плечу и заявил: «А я — Фрунзе!» В чем же главная заслуга Булата Окуджавы в создании второго песенного искусства? Почему именно его считают родоначальником этого направления, хотя еще до него стали известны песни Юрия Визбора, Ады Якушевой, Михаила Анчарова и некоторых других авторов? Конечно, прежде всего, суть в масштабе его поэтического таланта. Но кроме того еще и в том, что он в своих песнях заменил столь привычное для предыдущих поколений местоимение «мы» местоимением «я», которое звучало не только в стихах, но и в самой интонации его изысканных, поэтических и, как поначалу казалось, камерных песен. Но именно благодаря «камерным» произведениям Булата Окуджавы, впервые после долгих лет маршевых и лирических песен казарменного «социализма», в песенной (и не в песенной) поэзии появилась личность, «московский муравей», единственное и неповторимое «я». Так началась революционная эпоха авторской песни, в которой обрела свой голос интеллигенция.

*А. Городницкий.
Из книги «След в океане».*



ПАМЯТИ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ

В перекроенном сердце Арбата
Я стоял возле гроба Булата,
Возле самых Булатовых ног,
С нарукавным жгутом красно-черным,
В карауле недолгом почетном,
Что еще никого не сберег.

Под негромкие всхлипы и вздохи
Я стоял возле гроба эпохи
В середине российской земли.
Две прозрачных арбатских старушки,
Ковылять помогая друг дружке,
По гвоздичке неспешно несли.

И под сводом витающий голос,
Что отличен всегда от другого,
Возникал, повторяясь в конце.
Над цветами заваленной рампой,
Над портрет освещающей лампой
Нескончаемый длился концерт.

Изгибаясь в пространстве упруго,
Песни шли, словно солнце по кругу,
И опять свой полет начинали
После паузы небольшой,
Демонстрируя в этом в финале
Разобщение тела с душой.

И косо́й, как арба́тский художник,
Неожиданно хлынувший дождик
За толпо́ю усердно стирал
Все приметы́ двадца́того века,
Где в начале фонарь и аптека,
А в конце́ этот сумрачный зал.

И, как слезы, глотая слова,
Нескончаема и необъятна,
Проходила у гроба Москва,
Чтоб уже не вернуться обратно.

1997





ПРОЩАНИЕ С КИНЕМАТОГРАФОМ

«Из всех искусств для нас важнейшим
Является кино», — заметил Ленин.
И не ошибся: в школьные года,
Послевоенные, да и позднее тоже,
Оно сердца нам жгло на всю катушку.
Катушки эти, помню, привозили
В тяжелых несгораемых коробках,
Защитною окраскою и формой
Напоминавших цинки для патронов
Или противотанковые мины,
Которые в ту пору находили
Под Сиверской и возле Сестрорецка...

Ах, эти фильмы! Именно по ним
Учились мы, как надо целоваться,
Закуривать и открывать бутылку,
Да и другим вещам, необходимым
Для юношеской жизни, о которых
Умалчивали школьные программы.

Ах, эти фильмы старые! Бернес
Молоденький в петлицах с кубарями:
«Любимый город может спать спокойно»;
Орлова в «Цирке», «Леди Гамильтон»!
Потом пошли трофеи: «Башня смерти»,
Марика Рёкк, «Восстание в пустыне».

На сером полотне киноэкрана
Вскипали вдруг коричневые пятна,
Как пенки на топленом молоке,
И вспыхивал внезапно в зале свет.
Кричали дружно зрители: «Сапожник!»,
Свистели или топали ногами.

Кино объединяло всех тогда.
Всё было общим здесь: любовь, и смех,
И ненависть, и слезы, и веселье.
Переполняла гордость нас, когда
Под звуки марша, в кадрах кинохроник
Комбайны шли шеренгой, из ковша
Расплавленная вытекала сталь
И падали фашистские знамена
У мраморных ступеней Мавзолея.

А что за лица! Бабочкина помнишь?
Или Чиркова в «Юности Максима»?
Теперь уже и нет таких актеров.
А Симонов, играющий Петра?
Или вот этот — кажется, Филиппов,
Ну, в общем, с бородою, — во давал!
А песни, что однажды прозвучав,
Охватывали целую страну!
Я до сих пор их помню: «Три танкиста»,
Или «Шаланды, полные кефали».

Прощай, кино. Я больше не увижу
Табачный дым, сияющий в луче.
Не заскрипит, как прежде, подо мной
Фанерное сиденье откидное...
Прощай, эпоха кадров черно-белых,
Окрестный мир делившая наивно
На эти два несовместимых цвета.

Увы, сложнее он и многогранней,
И не влезает более в экран.

Прощай, кино. Ты и на самом деле
Важнейшее искусство для народа.
Ты умерло — и вот народа нет.
Осталось население, частично
Распавшееся на электораты,
Грызущие друг друга. Твой экран,
Необозримый, широкоформатный,
Рассыпался на тысячи убогих
Телеэкранов, запертых в квартирах.
Так колокол огромный вечевой,
Разбитый на осколки, никогда
Не обретет первоначальный голос.

Поэтому прощай, кинематограф.
Твою неистребимую соборность
Не заместит сегодняшняя церковь:
Нельзя там ни смеяться, ни свистеть,
Ни по бедру поглаживать соседку...

Прощай, мой первобытный древний бог.
В твоих безлюдных обветшалых храмах
Теперь автомобильные салоны
И распродажа мебели. «Природа
Не терпит пустоты», — как заявил
Помешанный на ртути итальянец.

Прощай, кинематограф. Ты теперь
Искусство ретро, как и оперетта,
Что вытеснена шоу, или книга
В суровую эпоху Интернета.
Прощай, кино. Уже не будем мы
Из темноты с надеждою на свет

Смотреть, замороженные лучом
Твоей трескучей кинопередвижки.
Прощай, мое важнейшее искусство,
Последняя и первая любовь.
Ты — жизнь моя, которая прошла
И более уже не повторится.

1997





* * *

Два народа сроднились в великой беде,
Возмечтав о приходе мессии, —
Коммунизм зародился в еврейской среде,
Сионизм появился в России.

Две религии близких — одна из другой
Родилась, но веками не свыклись.
Кто из них перед Богом единым изгой,
Кто сегодня, действительно, выкрест?

Не порвать никогда этих родственных уз,
Не идти нам иными путями.
Существует незыблемо братский союз,
Раздираемый вечно страстями.

Не с того ли в наречии волжской земли
Иорданские корни звенели.
И сошли на московскую землю кремли
С белоснежной вершины Кармеля?

Но не взявший родства двуединого в толк,
Исповедуя ненависть слепо,
Всё следит окаянный злодей Святополк
За челнами Бориса и Глеба.

1997





* * *

Не надо монументы разрушать,
Стыдясь своей истории, поскольку
В забвение ушедшие осколки
Соединятся в будущем опять.
Из книги бытия минувших бед
Не вычеркнуть, ее не сделать лучше,
Какие для вымарыванья силы
Ни прилагай. История России
Сплошная уголовщина, как Тютчев
Заметил горько на исходе лет.
Мне мил Шемякин: лысина Петра
Без парика и сфинкс с лицом скелета
Неразделимы с бронзой Фальконета,
С удавками и криками «Ура».
И Волго-Дон, что сделан на века,
Или Норильск в арктической метели
Не смотрятся без Сталина в шинели,
Как эта площадь без броневика.
От прошлого не отмахнуться нам,
Каких расцветок ни меняй на флаге.
В республику не переделать лагерь
Без памятников бывшим паханам.

1997





* * *

Люблю упорядоченную природу, —
Курчавый пейзаж, опрокинутый в воду
Пруда.
Лицо изменяет свое выражение,
Когда добавляет ему отражение
Вода.

Покров на Нерли, где рифмуется купол
С его двойником, и зеленые купы
Вокруг.
Полно мирозданье покоя и ласки,
Когда двуедино завязаны краски
И звук.

Ах, жить на планете, наверное, стоит,
Пока существует закон синусоид
И миф,
Что станешь, возможно, назавтра счастливым,
Поскольку приходит всегда за отливом
Прилив.

Что вновь, исходя из граничных условий,
Вернется строка, отраженная в слове
Другом,
Строфы завершая причудливый контур,
А значит и мы, отраженные в ком-то,
Придем.

Поэтому верить не надо, не надо,
Зловещим периодам полураспада,
И мы
Весной непременно вернемся обратно,
Закрасив по-новому белые пятна
Зимы.

1997





ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

Над прошлым приспустите стяг.
Расставим знаки препинанья.
Все было, в сущности, не так,
Как говорят воспоминанья.
Меж нами не было святых, —
Тщеславия насытый дьявол
В незрелых душах наших плавал,
Беря на помощь понятых.
Тянуло сыростью с Невы.
Среди студийцев в равной мере
Моцарта не было, увы,
Но не случилось и Сальери.
В оценке первых наших строк
Наставник был не в меру строг.
Причина этому отчасти,
Что был он худ и невысок,
И с женами не слишком счастлив.
Мы все тогда его манерам
Невольно подражали. Он
Казался нам миссионером
Во тьме языческих времен.
Он ведал нашу судьбой,
Держа невидимые вожжи,
И мы еще между собой
Не враждовали, — это позже.

Хотя и был он ростом мал,
Мне виделся его оскал
Неуловимой маской волчьей,
Когда он брови поднимал
Многозначительно и, молча,
В пространство обращая взгляд.
От рака легких он на вдохе
Скончался, чуть за шестьдесят,
Отравлен воздухом эпохи.
Мне за последние года
Позаложило уши ватой,
Но слышу, так же, как тогда,
Знакомый голос глуховатый.
И я смотрю с тоской назад,
Иконы алчущий расстрига,
В послевоенный Ленинград,
Где за окном Аничков сад,
В котором листья шелестят,
Как непрочитанная книга.

1997





ОДА АНТИСЕМИТАМ

Спешу заявить я открыто,
Покуда мой разум глубок:
Да здравствуют антисемиты,
Пускай им способствует Бог.

Пускай они множатся всюду,
До края последних морей,
Поскольку иначе откуда
Я знал бы о том, что еврей?

Спасибо, ушедшие рано
Ассирия, Рим, Вавилон,
Что наши разрушили храмы
И нас угоняли в полон.

За то, что в пустыне мы гибли,
Слепой покоряясь судьбе,
Великий властитель Египта,
Спасибо за это тебе!

И вам, украинские каты,
Что шли на детей с топором,
И Вам, государь император,
Любой одобрявший погром,

Тебе, аккуратнейший Эйхман,
Травивший нас газом «Циклон», —

Всем фюрерам Третьего Рейха
Нижайший за это поклон.

Когда бы не ваши кастеты,
Не газ пресловутый «Циклон»,
Мы все бы исчезли, как хеты,
Меж иноязычных племен.

Мы стали бы каплей в элите
Морей чужеземных и рек.
Недаром «Адам» на иврите
По-русски звучит «Человек».

Погромы, угрозы, теракты,
Явление кровавых комет,
И ядерный адский реактор
Над миром занес Магомет.

Но даже стократно убитый,
Скажу я в последний свой час:
Да здравствуют антисемиты,
Которые создали нас!

1997





ВИЛЬНЮССКОЕ ГЕТТО

Песня узников

Жили и мы когда-то рядом,
И пожелать сердечно рады
Ласки Господней
Всем,

кто сегодня
В наших живет домах.
Нас не отыщешь в гетто, в гетто,
Мы по соседству где-то, где-то,
В темных дубравах,
Солнечных травах
И полевых цветах.

Здравствуй, красавец Вильно, Вильно,
Все мы тебя любили сильно.

Было нас много
Милостью Бога,
Только, увы и ах,
Нас не отыщешь в гетто, в гетто, —
Мы по соседству где-то, где-то,
В темных дубравах,
Солнечных травах
И полевых цветах.

Слышишь — в ночи рычит овчарка,
В лица прожектор светит ярко.
Слыша приказы,
Больше ни разу
Не испытаем страх.

Нас не отыщешь в гетто, в гетто, —
Мы по соседству где-то, где-то,
В темных дубравах,
Солнечных травах
И полевых цветах.

Видишь дождя косые струны?
Были мы стары или юны,
Станет землею,
Доброй и злою
Наш безымянный прах.

Нас не загонят в гетто, в гетто,
Мы по соседству где-то, где-то,
В темных дубравах,
Солнечных травах,
И полевых цветах.

1997





С Юлием Кимом.
Бременсхафен, Германия, 2000 г.

СТАРЫЙ ПАТЕФОН

Ю. Хаютину

Для чего храню на антресолях
Патефон с затупленной иглою
И пластинок довоенных пачку?
Все равно я слушать их не буду.
Все они, согласно этикеткам,
Сделаны Апрелевским заводом.
Тот завод давно уже закрылся,
Но своим мне памятен названьем,
Так же, как и Баковский, наверно.
Я пытался как-то на досуге
Оживить его стальную душу
И крутил весьма усердно ручку,
Чтобы завести его. Когда-то
Заводили так автомобили.
Но пружина, видимо, ослабла,
А чинить никто и не берется.
Впрочем, мне достаточно названий
Песенок на выцветших конвертах, —
Перечту — и снова зазвучали.
Сорок пятый. Лето. Чернолучье —
Пионерский лагерь возле Омска,
И песчаный пляж на диком берегу
Иртыша. Не первая любовь,
А, скорее, первая влюбленность.
Мне двенадцать, ей — едва за десять,
И зовут, конечно же, Татьяной.

Поцелуй? Боже упаси! —
Только разговоры или вздохи.
Лето сорок пятого, а значит,
В Ленинград мне скоро возвращаться,
Ей же — в Белоруссию. И письма
Шли шесть лет из Бреста в Ленинград
И обратно. Каждый адресат
Уверял другого в вечной дружбе,
Что с годами перейдет, быть может...
Помню, классе, кажется, в девятом,
Получил в письме я фотоснимок:
На крыльце сидит она. Коса
За плечо закинута, и грудь
Проступает явственно под блузкой.
Бешено заколотилось сердце,
И во рту внезапно пересохло.
Через пару лет она и вправду
Прикатила в Питер и учиться
Поступила в университет
На истфак. Вот тут бы и расцвести
Вновь эпистолярному роману!
Но ее тогда я познакомил
Со своим приятелем случайно.
Был я — первокурсник желторотый, —
Он уже заканчивал второй,
И носил горняцкую фуражку
С узким козырьком «А-ля Нахимов»
И высокой бархатной тульею,
Черного же бархата погоны
С золоченым вензелем литым
И изящной синей окантовкой.
Надевал он темные очки
И, общественной согласно мерке,
Приобрел мужской изрядный опыт,
Так как регулярно посещал

«Мраморный» — весьма известный зал
Танцевальный в Кировском ДК,
Где происходили, то и дело,
Громкие разборки из-за женщин
Между горняками (общежитье
Наше было рядом — Малый сорок)
И курсантами морских училищ,
Чаще с преимуществом последних,
В те поры ходивших с палашами.
Мой же опыт равен был нулю.
В этом месте можно ставить точку,
Потому что старая пластинка,
С хрипотцой утесовской лукавой,
Мне некстати вдруг напоминает, —
У меня есть сердце, а у сердца —
Песня, а у этой песни — тайна.
Тайна же — достойна умолчанья,
Да и патефон ведь неисправен.

1997





АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ

Доводилось мне рисовать и Легенду. Легенда — Саша Городницкий. Вся романтика моей юности жила в путешествиях и песнях. Огромное число этих песен были уголовно-лагерные, как бы продолжение жизни на одной шестой части суши, огороженной по периметру колючкой. Но большинство — романтические песни бродяг и путешественников. Одной из самых знаменитых была:

Кожаные куртки, брошенные в угол,
Чем-то занавешено низкое окно.
Бродит за ангарами северная вьюга,
В маленькой гостиничке пусто и темно.

Или:

От злой тоски не матерись.
Сегодня ты без спирта пьян.
На материк, на материк
Идет последний караван.

И, конечно, про атлантов, которые небо держат на каменных руках. Автор был легендой — его никто не знал. Называлось: музыка народная, автора скоро выпустят.

Как потом Городницкий рассказывал, однажды где-то на Дальнем Востоке пьяный малый, спев ему его песню, проникся: «Это потрясающий мужик написал. Хочешь, я тебя на его могилу свожу?» И когда

Саша попробовал заикнуться, что автор песни он, парень его чуть не убил в негодовании.

На самом деле в жизни Городницкого ничего особенно легендарного не было. Родился в Ленинграде, учился там на геолога, тусовался среди тогдашней поэтической молодежи, где царили Кушнер, Бродский...

Потом стал геологом, ездил в экспедиции, потихонечку сочинял стихи и песни, особенно это не афишируя. На гитаре, кстати, он тоже никогда не играл, лишь теперь вроде бы немного пощипывает.

Постепенно Городницкий становился знаменитым как океанический геолог, серьезный ученый. Своим ремеслом Саша всегда дорожил, поскольку был по-настоящему одержим наукой. А жизнь при такой профессии известно какая — все время вдали от дома, и рейсы засекречены, потому и похвалиться ни-ни. Из всех маршрутов Саши об одном знаю наверняка — как он в начале восьмидесятых спускался в батисфере на океаническое дно в поисках Атлантиды.

Географические представления Саши и его изменения времени иные, чем у большинства из нас.

Вернувшись из поездки по Израилю, говорю Городницкому: — Странная у них там все-таки жизнь: четыре миллиона евреев и двадцать два миллиона арабов борются за право жить на одном куске суши. Трудно им. Зlobятся.

— Да не ломай ты над этим башку, Боба, — он мне говорит. — У них там все само собой скоро утрясется. По реке Иордан и Мертвому морю проходит тектонический разлом, и он все время расширяется, эта часть земли отъезжает от материка. Скоро они просто будут жить на острове.

— Как скоро?

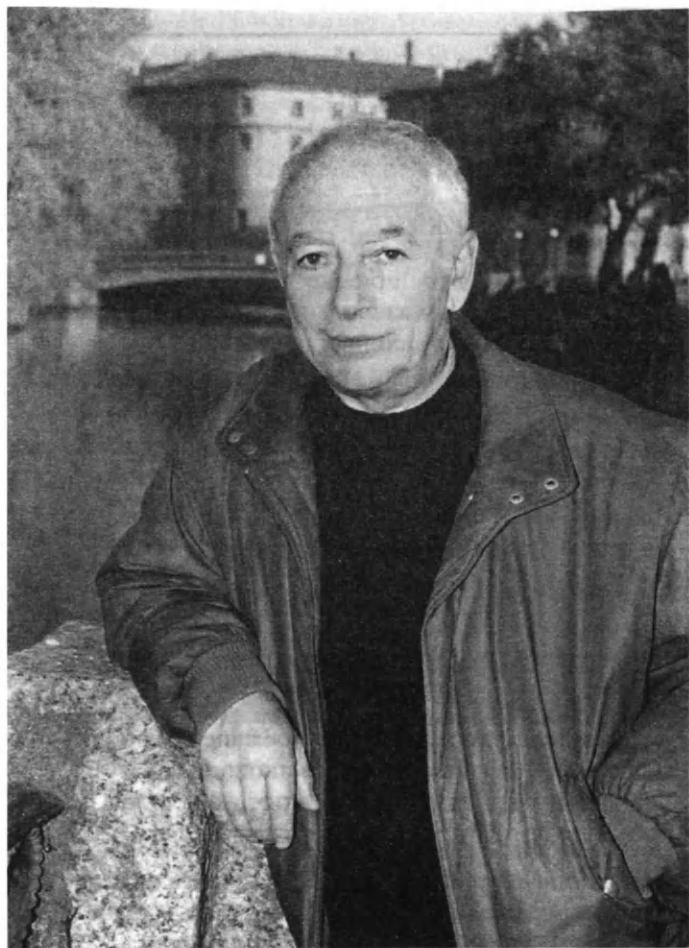
— Да через пару миллионов лет...

Сегодня мы с Городницким знакомы уже больше двадцати лет. Он академик Российской академии естественных наук, руководитель несуществующих уже океанических исследований (у государства просто нет денег), живет в Москве со своей женой Анной Наль в доме, заполненном раковинами, камнями, картинами, фотографиями любимых и дорогих. И время от времени за их хлебосольным столом собирается громадная компания только **своих**.

На седьмом десятке Саша Городницкий выпускает книги — стихи и прозу, много выступает — редкою неделю в Москве: то за курганом, то по России. Раньше выходил на сцену в сопровождении гитариста и под его аккомпанемент пел... нет — речитативом исполнял свои стихи. Теперь сам стал выходить с гитарой, и в его лета это вовсе не выглядит легкомысленным.

Портретная галерея Бориса Жутовского





**А. Гордницкий. Санкт-Петербург, 1995 г.
*Фото Ю. Богданова.***



ХУДОЖНИК ЖУТОВСКИЙ

Художник Жутовский рисует портреты друзей.
Друзья умирают. Охваченный чувством сиротства,
В его мастерской, приходящий сюда как в музей,
Гляжу я на них, и никак мне не выявить сходства.

Я помню их лица иными в недавние дни,
Неужто лишь в скорби их жизней действительный
корень?

Портрет неулыбчив любой — на какой ни взгляни,
Суров не по правде и обликом горестным черен.

Зачем мне на эти унылые лики смотреть?
Могу рассказать я о каждом немало смешного,
Да вот улыбнуться навряд ли заставлю их снова, —
Печальны они, и такими останутся впредь.

Художник Жутовский, лицо мое запечатлей
В свободной ячейке угрюмого иконостаса,
Где рядом с другими и я бы таким же остался,
Забыв понемногу, что был иногда веселей.

Художник Жутовский, налей нам обоим вина.
Смахнем со стола на закуску не годные краски
И выпьем с тобой за улыбку, поскольку она
Зеркальный двойник театральной трагической маски.

1997



Кельн. В гостях у Л. З. Копелева.
Слева направо: Л.З. Копелев, М. Кане, А Городницкий.



ПАМЯТИ ЛЬВА КОПЕЛЕВА

Прими венок мой скромный к изголовью
Перед уходом в плаванье большое,
Почетный немец с иудейской кровью
И русскою доверчивой душою,

Что в сорок первом сделавшись солдатом,
Свою наивность обративший в силу,
Стал гуманистом, но не в сорок пятом,
А на год раньше — это и сгубило.

Ты был похож на капитана Немо
В краю, не понимающем презумпций.
Спасать от изнасилованья немок
В сорок четвертом в Пруссии — безумство.

Тебе статей на полный срок хватило:
Казенный дом и дальняя дорога.
Потом мы вместе пели «Бригантину»,
Прощаясь у московского порога.

Библейский старец с бородою снежной
И радостными светлыми глазами,
Ты вызывал в сердцах немецких нежность,
Но был всегда одной Россией занят.

Библейский старец с детскими глазами,
Бывалый зэк, себя судивший строго,

Ты перед Богом выдержал экзамен,
С рождения не признававший Бога.

Но в дальних неопознанных пределах,
Над звездною распутицею млечной,
Пылится неоконченное дело
С пометкою на нем: «Хранится вечно».

1997





НЕ ПОЙТЕ БЕЗ МЕНЯ

Песня

Дрожат, не просыхая,
Дождинки на стекле.
Пора глухонемая
Настала на Земле.
Я думал ли когда-то,
Что выживу хоть год
Без песенки Булата,
Без Юриных острот?

Сияет мир окрестный,
По-прежнему хорош.
Сегодняшние песни
Горланит молодежь,
Но нету мне мелодий
В полях родной страны
Без голоса Володи,
Без Жениной струны.

Идет к закату лето,
Покачивая рожь.
Не чокнешься с портретом
И песню не споешь.
И мы грустим под вечер
С приятелем вдвоем.
Нам выпить бы за встречу,
Да только мы не пьем.

В падении живу я,
Как лист на вираже.
Еще я существую,
Но нет меня уже.
Звучит мой голос глуше
И не окрепнет впредь,
И некого послушать,
И некому попеть.

А значит, без сомненья
Пора и мне туда,
В другие измеренья,
В другие города,
Где вместе вы сидите,
Гитарами звеня.
Постойте, подождите, —
Не пойте без меня.

1997





ПЕСНИ ОДИССЕЯ

Александр Городницкий очень разносторонен. В его жизненно-творческом распоряжении, кроме рейсов дальнего плавания (настоящих рейсов настоящего дальнего плавания!), имеются превосходные стихотворения, своеобразные поэмы, красочная и основательная проза, посвященная названным путешествиям автора, а также описанию и прославлению удивительных открытий новейшей науки. Тех открытий, к которым лично причастен и сам Городницкий.

Кроме того, он еще и критик. Остроумно и пронизательно открывающий и отмечающий всегда что-то важное в движущемся потоке авторской песни. И в частности, несомые этим потоком неизбежные противоречия.

Будущее (я имею в виду сравнительно дальнейшее будущее) покажет, в котором же из всех этих жанров и видов деятельности удивительная талантливость автора проявится в конце концов ярче и резче всего. Но в настоящее время при первом звуке имени Александра Городницкого нам сразу же вспоминаются (а где вспоминаются, там и поются!), конечно же, его ставшие классикой песни.

Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерках приди,
Где без питья и хлеба,

Забытые в веках,
Атланты держат небо
На каменных руках.

И это надо же так сказать: забытые в веках!

То, что Александр Городницкий — романтик с головы до пят, не подлежит сомнению. Но вершинные песни его не только романтичны, — они эпичны. Они очень похожи на непонятно от каких скал отколовшиеся, какими путями образовавшиеся сколки героического эпоса. Сколки, потому что этот эпос не канонический, не бесконечно длящийся; это эпос, так сказать, малых форм, но это именно эпос и притом героический.

И вот еще одно немаловажное примечание ко всему сказанному. В лучших песнях своих (а лучших у него немало!) Городницкий выступает как хранитель и ревнитель нашей прекрасной старой культуры, так быстро сегодня забываемой многими, а лучше сказать, на скорую руку заминаемой да на скорую ногу забиваемой. На фоне сегодняшней мелкотравчатой суетности, местами переходящей в безумие, и всяческих маниакальных извращений, надменно рвущихся выразить себя пока не поздно через искусство; на фоне мерзко, но гордо хихикающей эротомании и вечной младенческой революционности (подозреваю, так никогда и не прочитавшей «Бесов»); на фоне сонмищ «визгом жалобным и воем» надрывающих сердце нам новых песенников, к тому же еще и шибко несамостоятельных, — на фоне всего этого и многого другого отрадно бывает вдруг снова вспомнить:

Над Канадой небо сине.
Меж берез — дожди косые...
Хоть похоже на Россию,
Только все же не Россия —

песню, сочиненную в традициях нормальности, даже если бы это было единственным ее достоинством.

Смелая образность песен Городницкого непри-
нужденна, их язык прост. Но я никогда бы не поду-
мала, что могут так сильно волновать простые слова
в простой расстановке:

«Спит в Донском монастыре русское дворянство».

Да не скажет, что будущего нет, тот, кого отнюдь
не собираются забывать нормальные порядочные
люди.

Новелла Матвеева





УЗКОЕ

Академики сходят с ума,
Многолетним сдаваясь нагрузкам.
Их в больничные прячут дома
В листопадом заваленном Узком.

Бабье лето сияет в окне,
Не убито пока термоядом.
Луч заката ползет по стене,
Провожаемый медленным взглядом.

На исходе последний сеанс.
Заслонила пейзаж занавеска.
Где ты, гордый оплот «Де сиянс»?
Ни сияния нету, ни блеска.

Их идеи не ринутся в твердь,
Оживляя мерцанием пульты.
Ах, инфаркт — это легкая смерть, —
Сбереги нас, Господь, от инсульта.

Не вернуть им недавних времен:
Дача в Моженке, саммит в Париже.
Желтый мозг их, как старый лимон,
До отказа системой выжат.

Разбираться привыкла страна
Со своими талантами быстро:

От поэта ей ода нужна,
От ученого — средства убийства.

Умирать им бесславно дано
На казенной больничной постели.
Имена их забыты давно,
Все открытия их устарели.

И восходят они на костер,
Распадаясь за атомом атом,
Ужасая дежурных сестер
Истерическим старческим матом.

1997





Музей Б. Окуджавы в Переделкино.
Сидят слева направо: А. Наль, А. Городницкий, Е. Евтушенко.



* * *

Одиночки с гитарой теперь никому не нужны.
Голоса их негромкие нынче и вовсе ослабли.
Невозможно услышать дрожание тихой струны
Там, где громко рокочут дуэты, хоры и ансамбли.

Грозовая погода стоит на холодном дворе.
На Россию с Кавказа свинцовые движутся тучи.
Стадионы полны. Двести тысяч сидят на горе.
Им стихи не нужны, им давай солонее и круче.


И кричит на эстрадах гитары освоивший люд,
Раздавая друг другу призы и почетные званья.
Это авторской песней у нас почему-то зовут,
Впрочем, дело, конечно, отнюдь не в природе
названья.

Им концертные залы теперь предоставили кров,
Где орут в микрофон вдохновенно лихие оравы.
И все дальше от них по безлюдью арбатских
дворов

Удаляется тихо сутулая тень Окуджавы.

1997





ПРАЗДНИК 850-ЛЕТИЯ МОСКВЫ

Похмельная и дикая,
Святая и острожная;
Гуляй, Москва Великая,
Столица невозможная.

То песни непристойные,
То лозунги оравшая,
Гуляй, Первопрестольная,
Престол свой потерявшая.

Вчера была ты первая,
На суд и кару скорая,
Вчера была Империя,
А нынче ты — Московия.

В лесные дебри сжатая,
От стужи поседеляя,
И не принадлежат тебе
Ни Малые, ни Белые.

Уходит вдаль Якутия
С алмазами и чумами.
Ползет Сибирь лоскутная
Вдогонку за Кучумами.

И армией рассеянной
С хребтов Кавказа голого

Бредут понуро к северу
Преемники Ермолова.

Опять тебе, как давеча,
Чураться брата-Киева,
Повторно ожидаючи
Нашествия Батыева.

Кичись же, многоликая,
Перед страной голодною,
Вернув Петра Великого
На речку мелководную.

Шуми, Москва, и радуйся
От кажущейся сытости,
Зовя к себе на празднества
Заезжих знаменитостей,

Под фейерверком радуги,
Напротив князя грузного,
Где ресторан «Арагви» лишь
Остался нам от Грузии.

1997





ВОСПОМИНАНИЕ

Сочится медленно, как струйка,
С клубка уроненная нить.
Соседка умерла, буржуйку
Уже не в силах погасить.

Пожар занялся еле-еле,
И не дошло бы до беды, —
Его бы погасить успели,
Да только не было воды,

Которую тогда таскали
Из дальней проруби с Невы.
Метель могла еще вначале
Пожар запудрить, но увы!

Три дня неспешно на морозе
Горел пятиэтажный дом.
В стихах сегодняшних и прозе
Припоминаю я с трудом

Ту зиму черную блокады,
Паек, урезанный на треть,
И надпись, звавшую с плаката
Не отступить и умереть.

Но спрятавшись под одеяло,
Я ночью чувствую опять,
Что снова дом мой тлеет вяло,
И снова некуда бежать.

1998



НОЙ

Нас океан качает неустанно,
Не предъявляя признаков земли.
Мне не прибегнуть к помощи секстана, —
Его покуда не изобрели.

Сопят несыто пенистые недра.
Со всех сторон пустынно и темно.
Топорный киль, что вытесан из кедра,
Набух водой и просится на дно.

Нубийский лев в затылок дышит жарко,
Качает трюм, переминаясь, слон.
Я с ними — как директор зоопарка,
Который посетителей лишен.

Всё явственнее за спиною ропот.
Гниет в бочонках пресная вода.
Погибли Атлантида и Европа,
От Азии не сыщешь и следа.

Но тайную подсовывая книгу,
С похмелья стопке поднесенной рад,
Мне сообщил египетский ханыга,
Что существует остров Арарат.

И над равниной, зыбкою и голой,
Я вглядываюсь пристально во тьму,
Где бумерангом сделавшийся голубь
Садится на просевшую корму.

1998

* * *

Памяти Михаила Иванова

Ностальгией поздно охвачен,
О своей задумавшись судьбе,
Вспоминаю реку Горбиачин,
Вспоминаю реку Кулюмбе,
Где когда-то мы сидели вместе
С экспедиционным багажом,
И скрипела банка желтой жести
Под тупым охотничьим ножом.
Комары над ухом пели тонко,
Пережат шумел невдалеке,
Плавилась китайская тушенка
В закопченном черном котелке.
На стене висит теперь кинжал сей,
Снятый с сыромятного ремня.
Я один на свете задержался
Из троих, сидевших у огня.
К темному прислушиваясь гуду,
Талым снегом спирт не разведу,
Никогда теперь уже не буду
В том незабываемом году,
Где в одежде латаной казенной,
В золоченом гнусе и пыли
Мы шагали дружно к горизонту,
Небо отделяя от земли.

1998



РОЗЫ

Д. Поликарпову

Хозяин дачи в ближнем Подмосковье,
Где мы снимаем угол пару лет,
Выводит розы и глядит с тоскою
На их бутонов матовый вельвет.

Он имена их помнит без запинки, —
Как молоды они и хороши!
Не для продажи на ближайшем рынке
Растит он их — скорее для души.

Полет его фантазии крылатой
Невычислим. Однажды невзначай
Охапку роз он подарил Булату,
Зашедшему к нам вечером на чай,

Догнав его смущенно у калитки.
Булат же, подмосковный старожил,
Еду себе готовил сам на плитке
И на прогулку с палочкой ходил.

Любил копать порою майской грядки,
Перекурить с лопатою в руке,
И что-то соловьиное в повадке
И сереньком просторном пиджачке.

Аэродром за перелеском слышен.
Холодный день уходит за Можай.
Хозяин чинит старенькую крышу,
Упаковав нехитрый урожай

И мелкий дождик проливает слезы,
Над тем же, что оплакиваю я.
Грядет зима, и далеко до розы,
До жизни, до любви, до соловья.

1998





БИАРРИЦ

Над полосатыми скалами Биаррица,
В стране непокорных басков, что издавна знаменита,
Франко-испанской границей
Раздвоенная, как копыто.
Над полосатыми скалами Биаррица,
Во дворце, построенном Наполеоном Третьим
Для себя самого и императрицы
Евгении, присутствующей на портрете,
В пятизвездном отеле, затянутом шёлком телесным,
Где комфорт неизменно монументален,
И по утрам к вам в номер вкатывают тележку
Со сладким французским завтраком, именуемым
«Континенталем»,
Вспоминается странное: школьная парта,
Проигравший в рулетку имение некто,
«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», —
Статья Энгельса, рекомендованная для конспекта.
И когда догорает за окнами спальни
Атлантических волн соленое пламя,
Облачаясь неспешно в халат купальный
С императорскими вензелями,
И взирая, как солнца розовый пудинг
В остывающем плавится океане,
Понимаешь твердо — уже не будет
Ни жизни другой, ни воспоминаний.

1998



Дрезден, 1998 г. С Т. Курьянковой.



ШТУТГАРТ

Песня

Был и я когда-то юн и безус,
Да не помнится теперь ничего.
В этом городе повешен был Зюс,
Эта площадь носит имя его.
Был у герцога он правой рукой,
Всех правителей окрестных мудрей,
В стороне германской власти такой
Ни один не добивался еврей.

Не жалея ни богатства, ни сил,
Став легендою далеких времен,
Многих женщин он немецких любил
И за это был в итоге казнён.
Я прочел это полвека назад,
У завешенного сидя окна,
А за стенкой замерзал Ленинград,
А за стенкой бушевала война.

Скажет каждый, у кого ни спрошу,
В этом городе повешен был Зюс.
Отчего же я здесь вольно дышу,
А в Россию возвращаться боюсь?
Я сегодня, вспоминая о нем,
Путь к спасению последний отверг
Там, где солнечным восходят вином
Виноградники земли Вюртемберг.

1998



* * *

Опять в тона кровавые окрашен,
Горит закат преддверием беды,
И алкаши шумят в парадной нашей,
Что, мол, Россию продали жида.

Из них любой, кого здесь ни спроси я,
Кричит о том, стуча ладошкой в грудь.
И все-таки не продана Россия,
А пропита — возможно, в этом суть.

1998





С Ф. Искандером. Помпея, 1999 г.

ПОМПЕЯ

Фазилу Искандеру

Зарево гудит под облаками.
Город задыхается в дыму.
Человек закрыл лицо руками,
Погибая в собственном доме.

Набирает силу, свирепея,
Огненная красная река.
Исчезает грешная Помпея,
Чтобы сохраниться на века.

В жидкость обращающийся камень
Плавится. Молиться? — Но кому?
Человек закрыл лицо руками,
Погибая в собственном доме.

Тем же, кто войдет в иную веру,
Пользуясь расположеньем звезд,
Им переживать еще холеру,
Войны, Хиросиму, холокост.

Перед предстоящими веками,
На планете, устремленной в ад,
Человек закрыл лицо руками
Два тысячелетия назад.

1999



ВЕНЕЦИЯ

Венеция — это вода и стекло,
Изгиб голубых изолиний,
И время, которое не утекло,
Поскольку осталось в заливе,
У скал Сен-Микеле, близ мраморных плит
Великих убийц и убитых,
Где надписи русские вечность хранит
Среди лангобардского быта,
Которые, раз затесавшись сюда,
Не могут с лагуной расстаться.
Венеция — это стекло и вода,
Сплетенные в медленном танце,
На люстре, в палаццо, над круглым столом
Последней из патрицианок,
Что стала сама венецийским стеклом,
Сойдя с полотна Тициана.
В нечаянный этот вступив карнавал,
Над узким ущельем канала,
Ты всех позабудешь, кого волновал,
И все, что тебя волновало.
И радостно думать, что гибель близка,
Под небом пунцовой окраски,
Где тускло мерцает свинцовый оскал
Печальной ромбической маски.

1999



КИТЕЖ

На холодной озерной перкали
Черной ряби славянская вязь.
Город Китеж идет в зазеркалье,
Отраженьем своим становясь.

Помолись чудотворной иконе,
Чтобы близкой избежать беды.
Разлетятся татарские кони
И застынут у самой воды.

Обернувшись серебряной тканью,
Сберегая свой праведный люд,
Город Китеж ушел в зазеркалье,
Не дожив до раскола и смут.

Эту северную Атлантиду
Не отыщет никто никогда.
Только вдруг под придонною тиной
Заблестит куполами вода,

И на льду, замеченном метелью,
Ожидая над лункой улов,
Рыболовы услышат с похмелья
Тихий благовест колоколов.

1999



* * *

Хорошо не быть банкиром,
Что кует золотую нить,
Не ходить по ювелирам,
Баксы в сейфе не хранить.
Не сидеть в крутом замесе
В хрусталях и витражах,
В шестисотом мерседесе
Под охраною, дрожа.
Не купаться на Канарах
В теплый бархатный сезон,
Не лежать потом на нарах
Неуютного СИЗО.
Хорошо не быть банкиром,
Чтоб не прятались в дому
Ни любовница, ни киллер, —
Быть не нужным никому:
Ни наемному убийце,
Что к тебе в окошко влез,
Ни красотке, что влюбиться
В твой успела мерседес.
Хорошо не быть банкиром,
Не иметь ни вилл, ни слуг,
За любовью и за киром
Не оглядываться вдруг.

У любой из встречных стоек
Пить спокойно одному:
Если жизнь гроша не стоит,
То бояться — ни к чему.

1999





* * *

Снежные тучи плывут за леса и за воды,
Низкое небо бинтуя от оста до веста.
Совесьь подобна взрывному устройству с заводом,
Время которого нам наперед неизвестно.

Деньги на ветер швыряют холодные ветки.
Черные реки сродни распахнувшейся бездне.
Совесьь подобна укывшейся раковой клетке,
Что проявляется только на фоне болезни.

Это скопление полузабывшихся фактов
Вдруг умножается дальностью расстояний,
И наступает пора неизбежных инфарктов,
Ранних смертей или поздних пустых покаяний.

1999





НЕАПОЛЬ

Неапольской бухты пронзительно ясные дали
Покой обещают вконец измочаленным нервам.
Из дальней России бежали всегда не сюда ли,
От Третьего Рима спастись понадеявшись в Первом?

В зеленом камзоле, порою июльской душной,
Любуясь судами на гладкой поверхности синей,
Здесь бродит беспечно, еще не задушен подушкой,
Опальный царевич с подругой своей Евфросиньей.

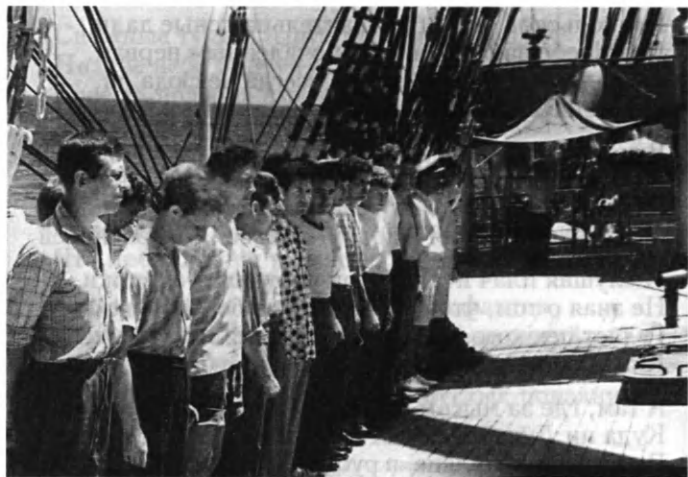
И слушая плач италийской чарующей скрипки,
Не зная о том, что на завтра на дыбе ей биться,
Гуляет пешком, не скрывая счастливой улыбки,
Княжна Тараканова об руку с цареубийцей.

А там, где за мысом лазурный виднеется остров,
Куда ни Лука не сумеет добраться, ни Сатин,
В соломенной шляпе, в рубахе просторной и пестрой
Сидит на скамье пролетарский великий писатель.

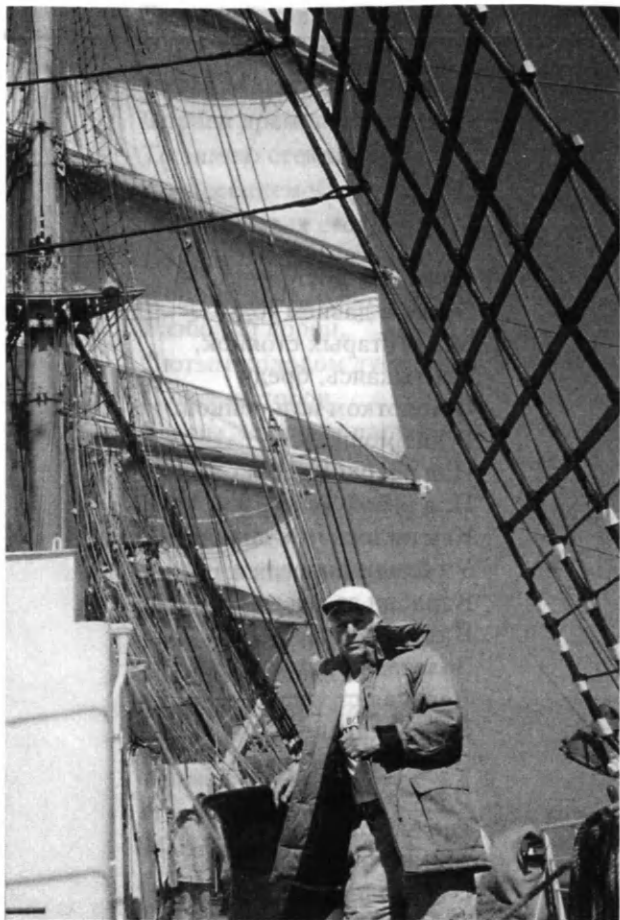
Но шторм подступает, лиловою тучей разбухнув,
И сразу пустеют прибрежные бары и пляжи,
И море смывает с холста нарисованной бухты
Самих беглецов и старинные их экипажи.

Балтийской овчинкой становится небо рябое,
Кровавою пеной вскипает придонная глина,
И пахнут внезапно соленые волны прибоя
Гнилою водой Алексеевского равелина.

1999



Первый поход на военном экспедиционном паруснике
«Крузенштерн», 1962 г.



Слова на «Крузенштерне», переход из Лиссабона в Виго,
Северная Атлантика, 1998 г.



* * *

Вижу сон постоянно, —
Будто в давнем году
Мимо старых стоянок,
Спотыкаясь, бреду
С молотком или рейкой.
Гудит мошкара
Над рекою Курейкой,
Над рекой Тымера.
Как пилось нам вначале
У обочин дорог, —
Карабин за плечами,
В голове ветерок.
Золотая округа,
Ледяная страна,
В Туруханске подруга,
В Ленинграде жена.
В том краю окаянном,
Где искали руду,
Мимо старых стоянок,
Задыхаясь, бреду.
Там, собравши валежник
На случай пурги,
Спали мы безмятежно
В утробе тайги.

Вьючный кованый ящик
В изголовье у нас,
Слева Мишка храпящий,
Справа дремлющий Стас.
То зимою стеклянной,
То в осеннем чаду .
Мимо старых стоянок,
Озираясь, бреду.
Ночи чёрное дуло,
Разборки ворон,
Лютым холодом дует
С обеих сторон.
Где вы, славные парни,
Что были и нет?
Слепоты накомарник
Застилает мне свет.
Гаснет в ягельном дыме
Пламя костра.
Собираться за ними
Мне тоже пора.
И упрямо, как пьяный,
По болотам и льду
Мимо старых стоянок
Я по следу бреду.
Нас баюкая сладко,
Шурша на лету,
Дельтапланом палатка
Несёт в темноту.



РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ

Песня

Смотрят люди,
Рты разинув,
Как по левой полосе, —
Бедная Россия!
Пролетают лимузины
По Рублевскому шоссе.
Бедная Россия!

За Барвиху и Раздоры,
На излучину реки, —
Бедная Россия!
Где за каменным забором
Поднялись особняки.
Бедная Россия!

Здесь, хоромами богаты,
Не метут из дома сор, —
Бедная Россия!
Коммунисты, демократы,
И бандит, и прокурор, —
Бедная Россия!

Терема их, словно храмы,
Отражаются в реке, —
Бедная Россия!
И суровая охрана

Держит псов на поводке, —
Бедная Россия!

А калеки-отморозки,
Изувечены войной, —
Бедная Россия!
Все стоят на перекрестке
С костылями и сумой, —
Бедная Россия!

1999





АБРАМ ПЕТРОВИЧ ГАННИБАЛ

Абрам Петрович Ганнибал, курчавого гения прадед,
Заслуживший под старость высокий чин
и отставленный от дел,
Которого Петр в купель окунал, эксперимента ради,
На Новгородчине получил свой последний надел.

Колхозный трактор снес без труда надгробия
хрупкий мрамор.
Перепахали могилу его и бороной прошли,
Стерев навсегда остатки следа еще одного Абрама
С хлебнувшей через них тревог многострадальной
земли.

Но там, где правят метели бал, заметая людские
судьбы,
И по весне начинает расти рыжая трава,
Абрам Петрович Ганнибал лежит у поселка Суйда,
Неподалеку от пути Санкт-Петербург — Москва.

Но там, где нынче растут хлеба такие, что сердцу
тошно,
Где в поисках не покладает рук упрямый пушкиновед,
Абрам Петрович Ганнибал кудрявой цветет картошкой,
Из черной плоти являя вдруг ярко-зеленый цвет.

Абрам Петрович Ганнибал, — его неизвестен
образ.

* * *

Стараюсь не думать о потусторонних мирах,
О черной Вселенной, летящей со скоростью света,
Когда зависает на небе вечернем комета,
Похмельным прохожим внушая мистический страх.

Скопления звезд исчезают, сгорев на бегу,
То врозь разойдись, то сжимаясь в единую точку.
Я эти модели, что нынче просчитаны точно,
Пытаюсь понять, и представить никак не могу.

И пыль вытирая со ставших ненужными книг,
Печально смотрю на старинную школьную карту
В напрасной тоске по наивной системе Декарта, —
Так детство свое вспоминает со вздохом старик.

1999





* * *

В те июньские дни, что катились ни шатко ни валко,
В ту эпоху, что стала теперь чужая,
Давид Самойлов, подвыпив, брал канотье и палку,
Старика богатого изображая.
Это было в Опалихе, помнится, или в Пярну —
Городке, казавшемся иностранным.
Он играл старика, который живет шкарно
И красивых женщин водит по ресторанам.
Мы приплясывали вокруг на одной ножке,
Еще не сменившие водку на кока-колу,
Распевая песенку из пластинки с картинкою
на обложке,
Изображавшей слоненка, идущего в школу.
Самойлов не стал стариком, умерев молодым
на сцене, —
Он остался ребенком, взбалмошным и капризным,
И когда в его строчках ищу для себя панацею,
Надо мною витает хмельной и веселый призрак.
Я и сам сегодня старше его, пожалуй.
На могиле Самойлова с вязью латинской камень.
Поколение славное кончилось с Окуджавой
Воевавших поэтов, не сделавшихся стариками.
Вспоминая песенки, певшиеся когда-то,
Подсчитавший свои пенсионные скромные средства,
Все горюю о том я, что старость моя не богата
Ни осеннею мудростью, ни откровеньями детства.

1999



РОДСТВО ПО СЛОВУ

Неторопливо истина простая
В реке времен нащупывает брод:
Родство по крови образует стаю,
Родство по слову — создает народ.

Не для того ли, смертных поражая
Непостижимой мудростью своей,
Бог Моисею передал скрижали,
Людей отъединяя от зверей?

А стае не нужны законы Бога, —
Она живет заветам вопреки.
Здесь ценятся в сознании убогом
Лишь цепкий нюх да острые клыки.

Своим происхождением, не скрою,
Горжусь и я, родителей любя,
Но если слово разойдется с кровью,
Я слово выбираю для себя.

И не отыщешь выхода иного,
Как самому себе ни прекословь, —
Родство по слову порождает слово,
Родство по крови — порождает кровь.

1999



* * *

Евреям немцы более сродни,
Чем англичане, шведы и французы.
Оборванные Холокостом узы
Наладятся — лишь руку протяни.

Сюда от инквизиторских костров
Бежали почитатели субботы.
Их вольница ганзейских городов
Манила обещанием свободы.

Зеленая и добрая страна
Приют сулила нищим и убогим,
Им новые давали имена:
Голдвассер, Люксембург, Кацнелебоген.

Среди земель империи Священной
Они существовали сотни лет,
Забыв язык, и для своих общений
Немецкий приспособив диалект.

Когда, в едином усомнившись Боге,
Крикливого безумца возлюбя,
Германия сжигала синагоги,
Она уничтожала и себя.

Но Мендельсона солнечные гаммы
Плывут опять над рейнской водой,
И носит, как повязку, город Гамбург
Свой герб с шестиконечною звездой.

1999



КЛАДБИЩЕ ВАЙСЕНЗЕЕ В БЕРЛИНЕ

На кладбище Вайсензее
(По-русски — Белое море),
Экскурсии, как в музее,
Летом и зимою.

На кладбище Вайсензее,
Где весной расцветает ландыш,
Похоронены евреи,
Защитники Фатерлянда.

Успевшие воплотиться
В ветки кустов кривые, —
Саперы и пехотинцы,
Фельдфебели и рядовые

Лежат на земле любимой,
Ничуть не подозревая,
Что во время их убила
Первая Мировая.

Что, в печи гоня их семьи
Неутомимо и косо,
Отплатит достойно всем им
Родина Холокоста.

Так же, как и когда-то,
С правофланговым вровень,
Держат в строю солдаты
Мрамор своих надгробий.

Досужие ротозей
Приходят сюда, глаза,
На кладбище Вайсензее,
На кладбище Вайсензее.

1999





Мурманск, 1999 г. На радио. Справа С. Никитин.



ТОЛЪЯТТИ

Припомню аргументом в споре
Пору июньскую, когда
Цветет на Жигулевском море
Полузастойная вода.

Где, после обсуждений долгих,
В воде, что бродит, как вино,
Утоплен Ставрополь на Волге,
Плотиной пущенный на дно.

Из глубины струится мгlistой
Зеленоватый цвет воды,
Как будто к солнцу тянут листья
На дне гниющие сады.

Там под стрехой домишек бедных
Тарань зеркальная светла,
Скликают прихожан к обедне
Негромкие колокола.

И над подводным пепелищем,
Коня пришпорив на бросок,
Все скачет бронзовый Татищев
Туда, где рыбы и песок.

1999



* * *

Хлещут ветки по небу, как плеть.
За окном собор зеленоглавый.
Обучаюсь правильно болеть,
Как когда-то обучался плавать,
В школьные далекие года
Овладев наукою несложной.
Стала суша нынче — как вода, —
Зыбкою, опасной, ненадежной.
Чередую выдохи и вдох,
Экономлю каждое движенье.
Стиль любой для плаванья неплох, —
На спине удобней положенье.
Нас учили: «В океане прыть
Неуместна. Не стремитесь, братцы,
Словно в речке, к берегу доплыть.
Главное — подольше продержаться».
И теперь, во сне и наяву,
Давнему послушный обученью,
В океане времени плыву,
Не сдаваясь темному теченью.

1999





ПЕВЧИЕ ПТИЦЫ

Монументальна осанка орла литая,
Крылья могучие, клюв его, медно-острый.
Певчие птицы невысоко летают
И не кичатся перьев окраской пестрой.

Клин журавлиный за облаками тает.
Туча воронья кружит над часовней старой.
Певчие птицы сбиваться не могут в стаи, —
Так и живут одинокой семейной парой.

Дятел-стукач по деревьям стучит упорно,
Филин-трудяга проводит всю ночь в охоте.
Певчие птицы петь не умеют долго, —
И обрывают песню на полуноcte.

Дружно пингвины толпятся на льдине голой,
Чайки кричат, презирая шторма и грозы.
Певчие птицы с трудом переносят холод
И умирают от голода и мороза.

Так для чего же он нужен их век недлинный,
В мире недобром, что Господом создан в гневе?
Слышишь, как в парке сварливо кричат павлины?
Слышишь, как клетот орлиный рокоchet в небе?

1999



ЗАПИСКИ

Находить развлечение в риске
Дело, в общем, довольно пустое.
Я любил отвечать на записки,
Перед рампой над бездною стоя.

Я всегда их зачитывал честно,
Слов пустых не бросая на ветер, —
Было мне самому интересно
На любую записку ответить.

Бил в лицо мне слепящий прожектор,
Как подследственному на допросе,
А из зала невидимый некто
Наблюдал мою редкую проседь,

Постаравшись при этом получше
Сформулировать колкие строки.
И вопросы бывали колючи,
И вопросы бывали жестоки.

В городах, отдаленных и близких,
Поднимая бумажки, как гири,
Я привык отвечать на записки, —
И на добрые, и на другие,

Твердо помня: у тех, кто известен,
Вправе требовать каждый ответа,

И веревкой повязаны тесно
Ипостаси шута и поэта.

Я за то на судьбу не в обиде,
Что, всегда подвергаясь атаке,
Был я людям отчетливо виден
И не прятал глаза в полумраке.

1999





ДЫМ

Эти дымы из труб — разноцветные, красные, синие,
Как на детском рисунке, внушающем страх,
Словно все население вышло «на химию»,
Свой положенный срок отсидев в лагерях.

Нам любить суждено эту землю прекрасную,
Где кислотным дождем проливаются вниз небеса,
Где рождаются дети на свет с гепатитом и астмою,
И могучие чахнут леса.

Позабывшие страх, мы на пляжах отравленных
нежимся,
Где огонь негасимый, невидимый глазу, горит,
В номерных городах, что сегодня Озерски
да Снежински,
И на море Балтийском, в котором рассеян иприт.

Нам по этим лесам не бродить, как когда-то,
с лукошками,
Не снимать урожай с обескровленных этих полей.
И рисует ребенок цветные дымы за окошками,
Чтоб картинка унылая сделалась повеселей.

1999





ГРЕЧЕСКАЯ ДРАМА

В греческой драме нет отрицательного героя, —
Каждый убийца бедный мучается жестоко.
И на скале отвесной, и под стенами Трон
Смертному не избежать предназначенья рока.

В греческой драме нет положительного героя:
Все от богов бессмертных — сила твоя и слабость.
Жалким злодеем может стать и герой порою,
Даже богат несметно женщинами и славой.

В греческой драме дышит девственная природа.
Вечна она. К тому же нет для нее злодейства.
В греческой драме хор, играющий роль народа,
Может сказать: «О, ужас!», но не меняет действия.

1999





СОФОКЛ

Листьями оклеивает стекла
К вечеру усилившийся ветер.
Странно перечитывать Софокла
На исходе двух тысячелетий.

Грустного не избежишь финала,
Злого не оспоришь приговора.
Ничего вокруг не поменялось, —
Только одеяние у хора.

Сладким ядом напоенный кубок,
Подвиги, что кончились бесславно.
Плачет в Трое скорбная Гекуба.
Плачет на Путивле Ярославна.

Страхом обесцвеченные лица,
Времени бесцельная дорога.
Человек не может измениться,
Даже если поменяет Бога.

У судьбы все тот же почерк гадкий:
Войны, произвол, кровосмешенье.
И хоть знаем сфинксовы загадки,
Ни к одной не найдено решенье.

1999



* * *

В последние годы жизни мать боялась всего:
Ночных телефонных звонков, неожиданной
телеграммы
Любая мелочь была ей поводом для тревог.
Прошло восемнадцать лет с тех пор, как не стало
мамы.

Когда возвращался я поздно в те давние времена,
Свое изнуренное сердце подбадривая валидолом,
Часами неподвижно сидела она у окна,
Вглядываясь в полутемную улицу перед домом.

Тревога в ней постоянно теплилась, как свеча,
Привораживая беду, которая в дверь стучится.
Она умерла от инфаркта перед приходом врача,
Вымыть пытаюсь пол, показавшийся ей
недостаточно чистым.

Когда беспокойные мысли уродуют душу мою,
И явственно ощущаю неясного страха броженье,
Я, обернувшись на зеркало, внезапно в нем узнаю
Ее испуганных глаз безумное выраженье.

1999





ЛЕНИНГРАДСКИЕ ДЕТИ РИСУЮТ ВОЙНУ

Песня

*Памяти русских и немецких солдат,
павших под Ленинградом*

День над городом шпиль натянул, как струну,
Облака — как гитарная дека.
Ленинградские дети рисуют войну
На исходе Двадцатого века.
Им не надо бояться бомбежки ночной,
Сухари экономить не надо.
Их в эпохе пной обойдет стороной
Позабытое слово «Блокада».

Мир вокруг изменился, куда ни взгляну.
За окошком гремит дискотека.
Ленинградские дети рисуют войну
На исходе Двадцатого века.
Завершились подсчеты взаимных потерь,
Познелось время былое.
И противники бывшие стали теперь
Ленинградской горячей землей.

Снова жизни людские стоят на кону,
И не вычислить затрашных судеб.
Ленинградские дети рисуют войну,
И немецкие дети рисуют.

Я хочу, чтоб глаза им, отныне и впередь,
Не слепила военная вьюга,
Чтобы вместе им жить, чтобы вместе им петь,
Никогда не стреляя друг в друга.

В камуфляже зеленом, у хмеля в плену,
Тянет руку к машине калека.
Ленинградские дети рисуют войну
На исходе Двадцатого века.
И соседствуют мирно на белом листе
Над весенней травой короткой
И немецкая каска на черном кресте,
И звезда под пробитой пилоткой.

2000





Москва, 2000 г.

НЕВА — ЭЛЬБА

Песня

Нильсу Вулькору

Два города этих так странно похожи,
Так странно похожи две этих реки.
Они далеки друг от друга и все же
Они для меня неизменно близки.

Здесь птиц птичьего зова небесные гаммы
Мешают порою весеннею спать.
Мне в Питере снова привидится Гамбург,
А в Гамбурге Питер приснится опять.

Два города этих так странно похожи.
Обоим преподали горький урок
Глубокие раны жестоких бомбежек,
Ночные сирены воздушных тревог.

Там море сурово грохочет за дамбой,
Внезапным грозя наводнением стать.
Мне в Питере снова привидится Гамбург,
А в Гамбурге Питер приснится опять.

И кажется, жизнь повторится сначала,
И сердце как птица забьется, когда
От берега Эльбы, от невских причалов,
Уходят, гудя, в океаны суда.

От края земного к другим берегам бы
Дорогою дальней и мне уплыть.
Мне в Питере снова привидится Гамбург,
А в Гамбурге Питер приснится опять.

2000



* * *

Художнику в природе нужды нет:
Его река — медлительная Лета,
В которой существует не предмет,
А лишь отображение предмета.

Дав отдохнуть усталому плечу
И холст беленый закрепив на раме,
Он кисть берет, — так тонкую свечу
Берет неспешно прихожанин в храме.

И парашютом раскрывая зонт,
Кидается в пространство без опаски,
Где, дымный размывая горизонт,
Земля и небо смешивают краски.

2000





* * *

Опять июльской порой
Среди приволжских вод
Плывет под грушинской горой
Гитарой ставший плот.
Плывет в прожекторном луче
Среди ночных огней, —
Ремень гитарный на плече
Ружейного верней.
Гремит над поймою сырой
Гитар ударный лад.
Над полуночною горой
Фонарики горят,
Вплетая желтоватый свет
В зеленый свет Луны,
Как будто по соседству нет
Ни горя, ни войны,
Где, дальний вспоминая дом
И волжские огни,
Поют солдаты о другом
Среди руин Чечни.

2000





* * *

Когда согнет минувших лет балласт,
Хребет твой, как невидимые гири,
И женщина последняя предаст,
Как предавали некогда другие,
Прости ее нечаянное зло,
Не справившись с нечаянною болью, —
Не говори — тебе не повезло:
Возможно, ей не повезло с тобою.

Когда боязнь остаться одному,
Беспомощному, брошенному всеми,
Твое жилище обратив в тюрьму,
Вдруг постучит в лысеющее темя,
И, вслушиваясь в полуночный крик
Летящих стай сквозь запертые рамы,
Внезапно осознаешь — ты старик, —
У стариков не заживают раны,
Не сетуй понапрасну, — не беда,
Что кончились веселые денечки.
Поодиночке мы пришли сюда,
И уходить должны поодиночке.

И все-таки, пока не вышел срок,
Душа открыта новому азарту:
Так в доску промотавшийся игрок
Готов опять поставить все на карту.

2000



Москва. Радио-1.
Встреча с гардемаринами, 1999 г.



КАПИТАН КУСТО

Я встречал капитана Кусто,
Космонавта подводного мира.
Мы с ним, помнится, спорили — что
Он нашел возле острова Тира.
Атлантида ли это была,
Как считали ученые раньше?
Он сказал: «Это ваши дела, —
Я всего лишь обычный ныряльщик».
Я встречал капитана Кусто,
Космонавта подводного мира.
В долгополом французском пальто
Был похож он на грустного мима.
В сухопутной холодной Москве,
Мне казалось, он выглядел странно,
И мерцал океан в синеве
Повседневного телеэкрана,
Им открытый для тысяч людей,
Неспособных надеть акваланги.
Был он полон каких-то идей,
Не по-старчески скроенный ладно.
И теперь, возвращаясь назад,
Постепенно состарившись тоже,
Я горжусь, если мне говорят,
Что немного мы в профиль похожи,

Подражая невольно ему
В безоглядной мальчишеской прыти
Перед тем погрузеньем во тьму,
За которым не следует всплытий.

2000





* * *

Опознать невозможно тобою покинутый город
В перекопанных улицах, в царстве унылого мата.
Здесь трамваи нечасты, как будто в блокадные годы.
В них сидения сломаны, дверца железная смята.


Опознать невозможно тех женщин, которых покинул,
(Или сами они покидали тебя — безразлично),
В этих грузных старухах, уныло сутулящих спины,
В изменившемся нынешнем их невеселом обличье.

Возвращаться не надо к местам позабытым и датам,
Если сердцу мешает сухой и насмешливый разум,
Чтобы вдруг не увидеть все то, что любил ты когда-то,
Посторонним, холодным, и значит, нелюбящим глазом.

Пусть сияет всегда в золоченом свечении спицей
Этот город нетленный в июньской ночи-невидимке,
И прекрасные женщины, те, что когда-то любили,
Улыбаются снова на невыцветавшем снимке.

2000






ВРЕМЯ ДЛЯ ХОРА

По холодной золе
Опознают следы человека.
На Сибирской земле
Остается от прошлого века
Незалеченный шов
Бесполезно гниющего БАМа.
Век гитары прошел, —
Начинается век барабана.
Неба розовый шелк
Догорает, в минувшее канув.
Век поэтов прошел, —
Начинается век графоманов.
Бьется лист о стекло,
Извещая, что кончилось лето.
Время книги ушло, —
Начинается век Интернета.
Остывает вода,
Понемногу шугой обрастая.
Предстоят холода, —
И пора разбиваться на стаи.
Стиснув сердце в кулак,
Я смотрю, как и прочие люди,
На густеющий мрак,
Где сплетается с гулом орудий

Тяжелеющий рок
Дискотечного рева лихого.
Век солистов истек, —
Начинается время для хора.

2000





САН-СУСИ

Бабье лето в Сан-Суси, бабье лето, —
Золотая полоса в Сан-Суси.
Если Бог тебя сживает со света,
Ты отсрочку у него попроси.
Ты пройди через осенние краски
К тем раскрыльям игрушечных рек,
Где нашептывает старые сказки
Куртуазный XVIII век.

Гложет осени холодное пламя
Желтых листьев ненадежная медь,
Машет мельница неспешно крылами,
Вслед за стаей собираясь взлететь.
И над темною водою усталой
Я горюю, от Москвы вдалеке,
Что ладонь твою, как лист пятипалый,
Удержать я не сумею в руке.

Белый мрамор остывающих статуй.
Туча синяя с багряной каймой.
Век кончается суровый, двадцатый,
Век кончается, нечаянный мой.
Но в потоке уходящего света
Обещает мне любовь навсегда
Эти отблески минувшего лета,
За которыми грядут холода.

2000 год

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

ГОРОДНИЦКИЙ Александр Моисеевич (1933) — геофизик, родился в Ленинграде в семье служащих в 1933 году. Пережил блокаду. В 1951 г. окончил с золотой медалью среднюю школу г. Ленинграда и в том же году поступил на геофизический факультет Ленинградского горного института им. Г.В.Плеханова, который окончил в 1957 г. по специальности «геофизика». В 1957 — 1962 гг. в качестве геофизика, старшего геофизика, начальника отряда и начальника партии работал в северо-западной части Сибирской платформы, в Туруханском, Игарском и Норильском районах. Занимался геофизическими поисками медно-никелевых руд и медного оруденения, включающими методы магнитометрии и электроразведки.

Был одним из первооткрывателей Игарского медно-рудного поля (1962).

С 1961 г. в качестве геофизика принимал участие в океанографических экспедициях в Атлантике, Охотском, Балтийском и Черном морях, в том числе на экспедиционном паруснике «Крузенштерн». Доктор геолого-минералогических наук (1982), профессор (1991), заведующий Лабораторией геомагнитных исследований океана (1985), академик Российской академии естественных наук (1992), член бюро Секции наук о Земле РАЕН (1993).

Начал печатать стихи еще в школе, в периодической печати. Первая книга стихов «Атланты» вышла в 1967 году.

Член Союза московских писателей (1972) и Международного ПЕН-клуба (1999), президент Ассоциации российских бардов. Им опубликовано 20 книг стихов, песен и мемуарной прозы, а также более десяти дисков с авторскими песнями.

За заслуги перед отечественной наукой награжден Синим крестом Российской академии естественных наук (1998), лауреат царскосельской лицейской художественной премии (1998) и Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы (1999).



СОДЕРЖАНИЕ

У КРАЯ ЗЕМЛИ

Прощальный гудок у перрона. <i>Песня</i>	9
Геологи	11
Начнем же все снова. <i>Песня</i>	12
Песня искателей урана	16
Песенка радиста	19
Карелия	20
Рыбачки	22
Ах, не ревнуй. <i>Песня</i>	26
Одиночество. <i>Песня</i>	28
Болконский	30
У края Земли. <i>Песня</i>	32
Галилей. <i>Песня</i>	34
Марш хунвейбинов. <i>Песня</i>	35
Женщина	40
Атлантида. <i>Песня</i>	43
Человек за бортом	50
Лишкява	52
«Родившись на Васильевском, давно...»	53
Ушебти	54
«Природа нас спешит предостеречь...»	55
Кончаковна. <i>Песня</i>	56

Архангельское	57
Весна	58
Старые вещи	60
Железноводск	61
Дом Лермонтова.	62
Байдарка.	64
Бенвенуто Челлини.	66
Сергиев Посад	68
След в океане.	72
Рубикон. <i>Песня</i>	74
Токио	76
«Когда пытаюсь мысленно назад...»	77
Песня подводного пилота	82

НАС ОСТАЛОСЬ МАЛО

Памяти Бориса Слуцкого	95
Счастливый Вяземский. <i>Песня</i>	96
Песня заключенного	99
Художник Куянцев.	100
Самарканд.	102
Бухара	104
Памяти Владимира Высоцкого	108
Нас осталось мало. <i>Песня</i>	110
«Цыганочка» палача Фролова. <i>Песня</i>	112
Понтий Пилат. <i>Песня</i>	114
Буранный полустанок. <i>Песня</i>	116
Окраина	119
Водолаз	120
Песня крестьян	124

Моряк, скажи-ка... <i>Песня</i>	126
Песня декабристов	128
Танжер. <i>Песня</i>	129
Город	130
Комаровское кладбище	133
На даче.	137
Стихи моих друзей	140
Памяти Юрия Визбора. <i>Песня</i>	142
Что снится ночью прокурору. <i>Песня</i>	144
Старые песни.	146
Офицеры	148
Бессонница	150
Взятие Бастилии	152
«Не удастся, хоть умри...»	153
Опасайся данайцев. <i>Песня</i>	154
Не возвращайся, Горький, с Капри. <i>Песня</i>	156
Гипертония	158
Шинель	159
«Из всех поэтов Кушнера люблю...»	161
Избиение младенцев	163
Война	164
«Никогда не вел дневников...»	165
«Как случилось, что я — это я?...»	166
«Мы не оставим в будущих мирах...»	168
Алия. <i>Песня</i>	170
Лагерные поэты	172
Последний летописец	179
Танаис. <i>Песня</i>	183
Памяти Давида Самойлова	186
Не зовите Русь к топору. <i>Песня</i>	188

«Мой друг писал историю Кремля...»	194
«Я убит в России при погроме...»	195
Евреи	197
Урок иврита	198
«Живем на природе и не замечаем природы...»	199
Бахайский храм. <i>Песня</i>	201
Памяти Леонида Агеева	202
В автобусе	203
«Мне будет сниться странный сон...»	204
Поэт похоронен в Эстонии.	210

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

«Сегодня песни не в чести...»	213
Друзья	214
«Мерцающая в переплете окон...»	216
Горный институт	218
Памяти Якова Виньковецкого	220
Города без предместий	222
«Опять погромы и костры из книг...»	225
Безбожный переулочек	226
Фельдфебель Шимон-Черкасский. <i>Песня</i>	228
«У старых надгробий...»	230
«Снова слово старинное «давеча»...»	232
«Десанты крылатых семян...»	233
Подполковник Трубяччинский. <i>Песня</i>	235
Зимнее время. <i>Песня</i>	237
Остров Израиль	238
Кремлевская стена	240

Юлию Крелину	242
Памяти Евгения Клячкина. <i>Песня</i>	246
Пригород	247
Карское море	248
Малеевские сны	250
Язык екатерининского века	251
На седьмом десятке лет. <i>Песня</i>	252
«В стенном шкафу перебираю, робок...»	254
«Как у Вия тяжелеют веки...»	255
Лот.	256
Леонардо да Винчи	257
Музыка на бегу	258
Прощай, оружие	260
Бостон	262
«Была ли Атлантида или нет?...»	264
Братьям Штейнбергам	266
«Я не люблю железных дровосеков...»	268
Банковский мостик	269
Цитируя классиков	270
«Этот край, навек запавший в сердце...»	271
Листопад. <i>Песня</i>	274
«Ноют под вечер усталые кости...»	275
«Я в юности раз заблудился в горячей тайге...»	276
«В Баварии летней близ города славного Мюнхен...»	277
Уроки немецкого	278
«Повернуть к истокам не старайтесь реки...»	280
«Предназначенный для счастья...»	281
«Актер Никулин...»	285
Отражение	286

РОДСТВО ПО СЛОВУ

«Мне непонятен современный стих...»	289
Переделкино	290
«Я родился от тех...»	292
Германия.	294
«Меня спасли немецкие врачи...»	296
Ивы	298
Могила Канта	299
«В тебе бы свой век коротать на Ганзейском причале...»	300
«Монархии в России не бывать...»	302
Эгмонт	304
«Узнать невозможно заранее...»	306
Казанское кладбище	307
Памяти Булата Окуджавы	312
Прощание с кинематографом	314
«Два народа сроднились в великой беде...»	318
«Не надо монументы разрушать...»	319
«Люблю упорядоченную природу...»	320
Дворец пионеров	322
Ода антисемитам	324
Вильнюсское гетто. <i>Песня узников</i>	326
Старый патефон	329
Художник Жутовский.	336
Памяти Льва Копелева	338
Не пойте без меня. <i>Песня</i>	340
Узкое	345
«Одиночки с гитарой теперь никому не нужны...»	348
Праздник 850-летия Москвы	349
Воспоминание	351

Ной	352
«Ностальгией позднею охвачен...»	353
Розы.	354
Биарриц	356
Штутгарт. <i>Песня</i>	358
«Опять в тона кровавые окрашен...»	359
Помпея	361
Венеция	362
Китеж.	363
«Хорошо не быть банкиром...	364
«Снежные тучи плывут за леса...»	366
Неаполь	367
«Вижу сон постоянно...»	370
Рублевское шоссе. <i>Песня</i>	372
Абрам Петрович Ганнибал	374
«Стараюсь не думать...»	376
«В те июньские дни, что катились ни шатко ни валко...»	377
Родство по слову.	378
«Еврейям немцы более сродни...»	379
Кладбище Вайсензее в Берлине	380
Тольятти	383
«Хлещут ветки по небу, как плеть...»	384
Певчие птицы	385
Записки	386
Дым	388
Греческая драма	389
Софокл.	390
«В последние годы жизни мать боялась всего...»	391
Ленинградские дети рисуют войну. <i>Песня</i>	392

Нева — Эльба. <i>Песня</i>	395
«Художнику в природе нужды нет...»	396
«Опять июльской порой...»	397
«Когда согнет минувших лет балласт...»	398
Капитан Кусто	400
«Опознать невозможно тобою покинутый город...»	402
Время для хора	403
Сан-Суси	405
Страницы биографии	406



Литературно-художественное издание

Городницкий Александр Моисеевич
КОГДА СУДЬБА ПОСТАВЛЕНА НА КАРТУ

Редактор *И. Топоркова*
Художественный редактор *А. Новиков*
Технический редактор *В. Бардышева*
Компьютерная верстка *Т. Комарова*
Корректор *О. Благова*

Налоговая льгота – общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 21.12.2000
Формат 70×100 ¹/₃₂. Гарнитура «Петербург».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,9.
Тираж 5 100 экз. Заказ 2512

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс»
Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80,
корп. 16, подъезд 3.

Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

Книга — почтой:
Книжный клуб «ЭКСМО»

101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru
Дистрибьютор в США и Канаде — Дом книги «Санкт-Петербург»
Тел.: (718) 368-41-28. **Internet: www.st-p.com**

Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

ISBN 5-04-006544-2



9 785040 065448 >

